



**ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА  
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ**

# **ГОЛОСА ИЗ МИРА, КОТОРОГО УЖЕ НЕТ**

---

**Выпускники исторического факультета МГУ 1941 г.  
в письмах и воспоминаниях**

**Издательство Московского университета  
2005**

ББК 63 (2) 722  
Г 61

**Рецензенты:**

Илизаров С.С., кандидат исторических наук, заместитель директора  
Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова. РАН

Белова Ю.М., заведующий Научным архивом Института истории,  
естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН

*В подготовке книги участвовали:*

*Р.С. ГОРЕЛИК, Л.В. МАКСАКОВА, Е.С. ПЕСТКОВСКАЯ,  
Т.В. РАВДИНА, Л.Н. РАСТОПЧИНА, В.П. БОГДАНОВ.*

Г 61

Голоса из мира, которого уже нет. Выпускники исторического факультета МГУ 1941 г. в письмах и воспоминаниях / Сост., Вводные тексты М.Я. Гефтера. 2-е изд., исправленное и дополненное - М.: Изд-во МГУ, 2005. - 193 с.

ISBN 5-211-03248-9

Это книга о людях, навсегда оставшихся молодыми. Они готовились стать историками. История же втянула их в свое жерло и сгубила. Выпускники 1941 года - в большинстве своем добровольцы Великой Отечественной. Их фронтовые биографии (за редким исключением) оборвались рано, но не остались бесследными. Помыслы, переживания, восприятие мира - в сбереженных адресатами, а порой и чудом уцелевших письмах. Это коллективный портрет далеко еще на познанного и во многом пока не понятого поколения.

077(02) - 95 - Заказное

ББК 63 (2) 722

ISBN 5-211-03248-9

© Составление, вводные тексты -  
М.Я. Гефтер, 2005 г.  
© Московский государственный  
университет, 2005 г.

## Вместо предисловия

Трудно писать предисловие к книге, подготовленной М.Я. Гефтером, не обладая ни его чувством слова, ни жизненным опытом и мудростью. Мое поколение, родившихся в 1980-е гг., с теми, кому посвящена предлагаемая книга, объединяет только возраст, к которому *мы* только сейчас подошли, но в котором *герои книги* уже полностью состоялись. В детстве возраст всегда соизмеряется с жизнью великих: в 19 лет А.С. Пушкин написал «Руслана и Людмилу», а перейдя за 20, – начал работать над «Евгением Онегиным». То же можно сказать о Лермонтове, Шолохове... А сколько других великих судеб! Думаешь: «Успеется!» Но идут годы, и ты проходишь отмеченные себе когда-то рубежи... И трудно представить, что получение диплома, сдача последнего государственного экзамена для тебя, едва перешагнувшего 20-летнюю отметку, – могут быть последними значительными событиями жизни или, что свои планы 20-летний человек не только не сможет воплотить в жизнь, но даже попытаться это сделать. И тогда начинаешь понимать, что удостоится похвалы профессоров М.В. Нечкиной (как Е.А. Шамшикова), А.В. Арциховского (как И.В. Савков\*), или писать такие стихи, как М. Гинсбург, да и вообще, быть членом коллектива, про который С.В. Бахрушин, ученик В.О. Ключевского, сказал: «Ваш курс был единственным в своем роде» – это тоже немало.

Наше поколение может только завидовать поколению «Ровесников Октября», у которого была ясная и цель и которому было понятно, ради чего они должны жить и, если надо, умереть. Эти ребята, «люди с солнцем в крови», чье поколение создало великие стройки 1930-х гг.\*\*,

---

\* Во время войны С.В. Бахрушин так писал М.Н. Тихомирову: «Расстраивают меня очень известия о нашей университетской молодежи: [Р.В.] Жданов серьезно болен, [И.В.] Савков пропал без вести, а это мои любимые ученики последних лет» (Шмидт С.О. С.В. Бахрушин и М.Н. Тихомиров (по архивным данным) // Проблемы социально-экономической истории феодальной России: к 100-летию со дня рождения члена-корреспондента АН СССР С.В. Бахрушина. М., 1984. С. 70, 74.

\*\* О репрессиях истфаковцы предвоенных годов говорили, что знали о них, «но не хотели этому верить». См., в частности: Архив Комнаты бо-

верившие в сказку фильмов Г. Александра и пытавшиеся воплотить ее в жизнь, вынесшие на своих плечах тяжелейшую за всю историю человечества войну, эти ребята уже одним своим рождением в знаменательное пятилетие (1915-1920 гг.), шагнули в бессмертие. Жизнь тех, о ком рассказывает эта книга, прервалась на взлете. В 1941-1945гг. они, друзья по студенческим годам, которых сплотил ИСТФАК, строили оборонительные рубежи, воевали в Народном ополчении, шли плечом к плечу против общего врага. Как бы сложилась их судьба, если бы они остались живы? Смогли бы они реализовать тот могучий потенциал, который был у них в студенческие годы? Или бы процессы конца 1940-х гг., разоблачение культа Сталина и прочие идеологические перестановки, прервали бы их свободный полет? Сохранили бы они веру в идеалы молодости, или же испытали «ужас разочарования», о котором пророчило Горе в поэме студентки исторического ф-та МГУ 1938г/п И. Оныщук «Сны»? Может кто-то из них, «земной свой путь пройдя до половины», вслед за С. Нарочатовым, знакомого многих из них, а после войны известным поэтом, мог повторить:

Много злата получив в дорогу,  
Я бесценный разменял метал,  
Мало дал я Дьяволу и Богу,  
Слишком много кесарю отдал.

Потому что зло и окоянно  
Я сумы страшился и тюрьмы,  
Откровенье помня Иоанна,  
Жил я по Евангелию Фомы.

У истории нет сослагательного наклонения. Эти ребята вместе пришли на исторический ф-т МГУ в 1936г., будучи разного возраста, разных национальностей, социального происхождения, по-разному реагировавшие на происходящее вокруг. Но за годы учебы они стали взрослыми, и возрастная разница стала не столь ощутимой; настоящая дружба нивелировала все остальные различия —они ушли в свой последний путь вместе и вместе приняли последний бой. Составители этой книги сделали все,

---

ею и трудовой славы исторического факультета МГУ. Папка «Опросы бывших студентов истфака». Т.М. Смирнова (студентка 1937-1941 гг.); там же. Б.Г. Тартаковский (1935-1940 гг.)

чтобы имена этих ребят, их сокурсников, остались в нашей памяти. Да, здесь собраны «смутные пересказы» и «смутная проза дневников» (о которых писал Николай Майоров в стихотворении «Мы»), но за скупыми строками, 28 строками, оборванными пулей, -28 человеческих судеб. А на самом деле – портрет всего поколения «Ровесников Октября»: и погибших на этой войне, и выживших, всю свою жизнь помнивших друзей молодости. Это история красивой любви, настоящей дружбы, и человеческого благородства, и, может быть, последних романтиков нашей планеты.

Эта книга была подготовлена к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне и рабочее название «Их призвание была история», но впервые издана была лишь через 10 лет. Настоящее издание во многом повторяет предыдущее; в нем несколько изменена структура, добавлены материалы об Иване Коре и Игоре Савкове, добавлены новые примечания и иллюстрации. Сканирование материалов осуществлено Е.О. Ягодкиной.

В.П. Богданов,  
выпускник исторического ф-та  
МГУ им. М.В. Ломоносова 2002 г.

## ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

*Еще десять лет к тому долгому времени, что отдалило нас от наших павших друзей. Начиная собирать эту книгу писем, мы не знали еще, к чему придем, сколь исполнимым окажется замысел: донести рано умолкнувший голос наших сверстников до следующих поколений. Да и сам замысел возник не сразу, а в ходе работы, когда легли на стол десятки тронутых временем листков со стертыми на сгибах словами, с трудно различимой карандашной скорописью (среди них и одиночные весточки, и целые эпистолярные коллекции). Мы шли по следам, уводящим в гибель, и строки ее вкупе с обстоятельствами диктовали ритмику текста, его движение — от смерти к жизни.*

*То была поистине ВСТРЕЧА. Возвращаясь к своим друзьям и любимым, мы не сбросили ношу лет, сие людям не дано, скорее, ощутили этот груз, измерив его сердцем и мыслью. Ведь между ушедшими до срока и нами, выжившими, — не просто годы, но нечто, чему современник затрудняется дать однозначное и исчерпывающее определение. Эпоха? Нет, больше. Много больше. МИР, КОТОРОГО УЖЕ НЕТ. И их голоса оттуда, из того Мира. Чтобы расслышать их, надо сделать усилие. Оно столь же неизбежно, сколь и затруднительно. Мы многое знаем, чего не ведали они. Это, что и говорить, преимущество, но не превосходство. Превосходства нет, тешить им себя значило бы впасть в горчайший самообман.*

*Их, павших, призвала история — сначала на студенческую скамью, затем на поле боя. Поступок шел вровень с добытым знанием, с прочитанной судьбой предшественников, с первым исследованием. Тем, кто заново начинал жить после 1945-го, пришлось круче. Гибель меняла обличья, неприметно проникая в будни, входя в сделку и даже не непременно с совестью, но и с профессиональным рвением. Так или иначе, раньше или позже человек вступал в конфликт с собою же — историком, и эта схватка была (и остается) нешуточной, в расплату*

*шли оборванные судьбы, угасания былой близости, при-  
ступы вынужденной и самочинной немоты.*

*Не стану кривить душой, утверждая, что мы вы-  
держали проверку временем. Однако осмелюсь предпо-  
ложить: нам было бы хуже, и мы сами были бы много  
хуже (и для себя, и для тех, кто после), когда бы не руки,  
протянутые оттуда. Нас выручили наши мертвые. Это  
верно и по сей день. Но во сто крат вернее по отноше-  
нию к тому рубежу, которым датируется эта руко-  
пись... После долгого перерыва я перечитываю ее,  
уходящую наконец в набор, а на память почему-то при-  
ходит Ржев августа 42-го, канун очередной обреченной  
атаки, ничейная полоса, яма, из которой я раньше време-  
ни выполз наружу. Еще не заря была, а предчувствие ее;  
небо, оставаясь ночным, переходило в упреждающую  
день серость, и хотя не могло быть двух мнений по пово-  
ду того, что день вскорости вступит в свои права, внут-  
ренний голос нашептывал сомнение в этом, как бы силясь  
отсрочить развязку; считанные минуты — и она при-  
двинулась вплотную, чтобы отступить затем, подчи-  
нившись милосердию безвестного санитаря. Однако я не  
о том, что произошло тогда, вернее о нем — о спасении,  
но в смысле, простирающемся много дальше отдельной  
биографии. Я о случайности и о неумолимости грани, ка-  
кая отделяет ночь, наступающую человека, от его — че-  
ловека — сумерек.*

*Сумерки, поясняет Даль, "на востоке до восхода  
солнца, а на западе по закате". Восток и запад здесь, са-  
мо собой, буквальные, подчиненные астрономической  
непреложности. Но в их сродстве заключена также вра-  
зумляющая метафора. Она отклоняет — равно — из-  
бранничество ЗАКАТА и ВОСХОДА, настаивая на  
всечеловечности сумерек, которые вступают в ум и душу  
как потребность Выбора: неизвестного будущего в еще  
подлежащем открытию прошлом. Наши павшие и погуб-  
ленные сверстники осуществили свой "сумеречный" вы-  
бор. И он запомнится таковым навсегда, невзирая на то,  
что в него вторгалась, при жизни их и посмертно, его  
переиначивая и оскверняя, чуждая им "верховная" воля.*

*...Надеюсь, что, прочитав эту книгу, читатель без  
особой подсказки поймет, почему она задержалась на*

*столько лет, чем не угодила идеологической взыскательности тогдашнего рецензента. Согласится, думаю, этот желаемый читатель и с тем, что в рукописи 1985 года не изменено ни слова по сути. Не оттого, что столь безупречна она, а потому, что сама уже — сколок необратимого времени. Без перемен сохранилась выросшая в процессе работы первоначальная композиция сборника. Дополнения минимальны. Отыскалось единственное (из тех лет) письмо Лизы Шамшиковой и разъяснилась до конца судьба Игоря Савкова — завершающий аккорд еще не исполненного реквиема.*

*Этот сборник — плод совместных усилий. Он бы вообще не состоялся, если б публикуемые письма не уберегли, не пронесли через перемены в собственной судьбе те, к кому обращались ушедшие на войну. С общего согласия мы, как правило, не указывали адресатов и не сопровождали многочисленные упоминания ныне живущих однокурсников расшифровкой их имен. Нам хотелось сохранить в неприкосновенности отношения того времени.*

*Однако годы идут, укорачивая сроки. И я решаюсь во имя справедливости нарушить давний уговор, назвав имена подруг, жен, друзей, с которыми погибшие авторы посланий делились сокровенными мыслями, надеждами, невзгодами, деталями фронтовых будней, еще свежими воспоминаниями студенческих лет. Ведь в конечном счете книга эта — коллективный портрет поколения.*

*Мы благодарны всем, кто годами собирал крупницы сведений о недолгой жизни наших сверстников. Признательны С.М. Семеновой, поделившейся своими воспоминаниями об Иване Коре, однополчанам Елизаветы Шамшиковой, всем, кто служил на флоте вместе с Ириной Можайской и рассказал печатно, устно и в письмах об их подвигах и обстоятельствах смерти. Отдельные фрагменты рукописи воспроизведены газетами "Московский комсомолец", "Россия", "Культура" и Археографическим ежегодником РАН; в подготовке публикаций принимала участие Е.Ю. Буртина. Не забудем поддержки и первого друга-читателя Льва Осовата*

*Особо заслуживает быть названной здесь Серафима Ивановна Антонова — многолетний хранитель ветеранских традиций истфака. Энергично содействовал*

*продвижению рукописи Юрий Александрович Мошков. Последний же и решающий шаг к ее изданию сделал нынешний ректор Московского университета В.А. Садовничий. Спасибо, Виктор Антонович!*

*Составители книги отдавали ей кусок своей жизни. Они счастливы, разумеется, что результат их работы становится достоянием общественной памяти. К сожалению, не дожидая до этого дня Тамара Владимировна Равдина— замечательный человек, вдохновенный и взыскательный археолог, собиратель наследия своего поколения.*

*С пониманием отнеслась к публикации рукописи издательский редактор В.В. Михеева.*

*Остается добавить, что в текстах писем мы позволили себе сделать сокращения (помечены отточиями в квадратных скобках), когда речь идет о незначущих деталях бытового свойства, а также в исключительных случаях из соображений такта. Упоминаемые в текстах писем имена и фамилии погибших разъяснены, как правило, в примечаниях.*

*24 марта 1994 г.  
Михаил Гефтер*

**Выпускники исторического факультета МГУ  
1941 года,  
павшие в Отечественной войне**

Айзенштадт Андрей Давидович, 1914 года рожд.  
Ан Борис Иванович, 1913 года  
Бауэр Георгий Эммануилович, 1915 года  
Бельский Борис Михайлович, 1917 года  
Босин Иосиф Григорьевич, 1918 года  
Бреггер Борис Абрамович, 1919 года  
Вайсман Валентин Давидович, 1919 года  
Гинзбург Моисей Абрамович, 1918 года  
Демидов Александр Михайлович, 1918 года  
Забродин Константин Иванович, 1918 года  
Зотов Владимир Алексеевич, 1918 года  
Комиссар Моисей Нахимович, 1918 года  
Кора Иван Прокофьевич, 1917 года  
Маслеников Юрий Валентинович, 1918 года  
Метленков Глеб Александрович, 1918 года  
Можайская Ирина Петровна, 1914 года  
Осповат Александр Борисович, 1918 года  
Пинус Яков Юльевич, 1918 года  
Ремесницкий Юрий Ефремович, 1918 года  
Савков Игорь Владимирович, 1919 года  
Сечан Лее Владимирович, 1918 года  
Скворцов Владимир Владимирович, 1918 года  
Сонин Абрам Маркович, 1918 года  
Судницын Никанор Васильевич, 1915 года  
Фельдман Михаил Лейбович, 1915 года  
Финкельштейн Лев Абрамович, 1919 года  
Цветков Юрий Иванович, 1918 года  
Шамшикова Елизавета Александровна, 1917 года

## ЖИВЫЕ—ЖИВУЩИМ

Не горюй, все имеет конец—Мы будем жить.  
*Последняя строка последнего письма  
Моисея Гинзбурга. Погиб в 1941.*

...И пусть  
Не думают, что мертвые не слышат,  
Когда о них живые говорят.  
*Николай Майоров, поэт-истфаковец. Погиб в 1942.*

Мы вновь вместе, как в начальный день сентября 1936 г., собравшиеся в зале без окон особняка XVIII столетия, обветшалого, не раз перестроенного творения великого Казакова со следами былой красоты и с множеством преданий если не времен очаковских и покорения Крыма, то тех, что сразу за ними. Правда, повстречай мы в тот день в тех старинных переходах призраки Вильгельма Кюхельбекера (навещавшего хозяев дома) или князя Сергея Трубецкого (по преданиям, окончившего тут многострадальную жизнь), — едва ли бы их опознали. Случись же такое, приняли бы за доказательство, пусть не вполне материальное, но достаточно убедительное, что попали как раз туда, куда и стремились.

Мы — это полтора ста первокурсников, зачисленных в тот год на исторический факультет МГУ, в подавляющем большинстве вчерашние школьники, что отличало наш курс от двух старших с преобладанием на них рабфаковцев и прочих, имевших за спиной житейский опыт. Нам же его еще предстояло обрести — в самых непредсказуемых тогда обстоятельствах. Пока же мы наслаждались молодостью, хотя и не вовсе беззаботной (в те-то годы!), но со многими утешениями и радостями, а хочется думать, и с некоторыми достоинствами, выделявшими наше поколение в череде сменявших друг друга питомцев Московского университета.

Факультет, избранный нами, после десятилетнего своего небытия был заново открыт в 1934-м. Историческая наука переживала переломное время. М.Н. Покровский, чей сжатый очерк русской истории мы "прорабатывали" в школе, посмертно впал в немилость.

Веяло отказом от революционного ригоризма; отстоявшаяся жизнь делала заявку на устойчивое прошлое. Последствия были весьма неоднозначными, пробиваясь завязями разных возможностей. Далеко не все из них смогли воплотиться; одни были подрублены в корне, другие теряли свой голос, все больше впадая в казенную фальшь. Однако не сразу и все-таки не все. Ощутимей было другое: истории возвращались права гражданства. Исследование преодолеvalo сравнительно узкие, заданные рамки событий и эпох, на которых фокусировалась советская историография своей ранней, штурмовой поры. Вырос спрос и на историков-профессионалов. Кому как не старейшему российскому университету было его удовлетворить?

Конечно же, мы были разными, девушки и юноши, чьим общим домом на пять лет стал истфак. Некоторые отличия стирались быстро (как, например, между столичными и иногородними), другие, напротив, нарастали и выходили наружу — по мере углубления в науку и под воздействием предгрозовой обстановки. Но все же не наваждение, не романтическая ретушь — сродство, и поныне отличимое в юных лицах, отпечатавшееся как в значимых событиях студенческой жизни, так и в ее смешных происшествиях.

Разумеется, не наша заслуга, что мы оказались подготовленней к университетской науке в сравнении с большинством старшекурсников, но то было преимущество, сразу замеченное учившими нас. Наши педагоги, в свою очередь, хранили традицию основательного систематического знания и, как правило (нам в этом отношении повезло), умели пробудить в студентах искру самостоятельности наряду с особенным, историка отличающим чувством непосредственного прикосновения к былому.

С признательностью вспоминаем мы не только именитых ученых, замечательных лекторов, как П.Ф. Преображенский, В.С. Сергеев, С.Д. Сказкин, М.В. Нечкина, М.С. Зоркий, И.М. Рейснер, Г.С. Карамурза, В.М. Мирошевский, Б.А. Белый, В.Г. Юдовский и другие; не уходят из памяти и "обыкновенные" преподаватели, к примеру, латыни или иностранных языков, среди которых были люди уникальные по знаниям,

высочайшей культуре и редкой душевности. Многие известные ныне историки в наше студенческое время лишь начинали преподавать. Так, рано умерший Константин Васильевич Базилевич читал нам впервые свой курс истории СССР и впоследствии рассказывал, какое волнение при этом испытывал, как проводил бессонные ночи накануне очередной лекции.

На вылинявшей фотографии 1939 года — студенты нашего и других курсов, участники летней археологической экспедиции в Новгороде. Нелегко опознать тех, кто давно ушел от нас, а тогда, не помышляя о славе, закладывал основу будущего сенсационного открытия грамотной и умелой северорусской цивилизации — открытия, навсегда связанного с именем Артемия Владимировича Арциховского. Вот и он, среди как попало одетых землякопов-студентов, в своем привычном московском костюме с жилеткой, — джентльмен манерами, слывший чудачком, он был одним из наших любимых профессоров. Нам уже довелось стать первыми слушателями его теперь уже прочно вошедшего в науку курса "Основы археологии".

Да, то было особенностью времени: историческая память сблизилась с регулярным историческим образованием. Из университетских спецкурсов выросли капитальные монографии, на семинарах и даже практикумах велись острые споры, готовились оригинальные доклады. Война прервала не одно изыскание, начатое на студенческой скамье. Разумеется, сейчас лишь узкий специалист воздаст должное первым публикациям Александра Осповата, посвятившего себя изучению освободительной мысли в России XIX века, да памятный археолог не пройдет мимо отчетов Георгия Бауэра и Игоря Савкова, осуществивших, по компетентному заключению, образцовые раскопки курганов в окрестностях Звенигорода и в тогда еще подмосковных Черемушках. А сколько интереснейших наблюдений осталось в курсовых (по сути — в дипломных) работах, защищавшихся в самый канун войны!

Листая номера университетской многотиражки за те годы, находим в них не одно упоминание о студентах нашего курса — организаторах и участниках исследова-

тельских кружков, авторах работ, отмеченных премиями. Среди них Борис Ан, бывший учитель русского языка в одной из школ Дальнего Востока, вдумчивый, выдержанный человек, нашедший себя в исследованиях истории народов Приамурья, близкий ему по складу характера Глеб Метленков, усердно и успешно занимавшийся малоизученными проблемами политической истории Руси XVI века; волжанин Ян Пинус, выполнивший первое в научной литературе исследование важнейшего памятника — "Голосов из России", изданных Герценом и Огаревым в 1856—1860-х гг.

Этот ряд имен должно бы ширить еще и еще. Не пора ли всерьез осмыслить творческие заявки людей, которых война застала на пороге зрелости? К несчастью, большинство тех работ утрачено, как и отзывы на них. Тем ценнее сохранные — целиком или в виде фрагментов, отдельных статей, изданных в сборниках студенческих научных работ, а также в отзывах-упоминаниях и оценках наших тогдашних научных руководителей. Остается лишь догадываться и сожалеть, какие нереализованные и даже не вполне выявившиеся возможности навсегда потеряла вместе с ними духовная жизнь. "Ваш курс был единственным в своем роде", — сказал ученик Ключевского профессор Сергей Владимирович Бахрушин на встрече выпускников 1941 года, которая происходила спустя шесть лет.

Вспоминая сейчас эти уважительные и трогательные слова, мы можем показаться нескромными. Однако извиняет нас не простая ностальгия, не она сама по себе. Остановить стрелку часов звала неизвестность того, что поджидало выживших. Тогда, в конце сороковых, погибшие казались такими же, как мы, лишь не дошедшими до победного рубежа. С тех пор дистанция не столько удлинилась по времени, сколько обновилась по существу. Стал зримее слом времен, верхний край той, истфаковской, эпохи, очертивший всю ее до самого начала уходом друзей (сраженных и пропавших "без вести"), забравших с собою и хранящих в себе и пафос, и прозу, добрые и неясные поступки, и то, что особенно мучительно вспоминать — веру и заблуждения нашего поколения, его духовную статью, оборвавшуюся на них.

Сегодня уже не только следующие за нами и после нас, но и мы сами, возвращающие себя вспять, пытаемся узнать: кто же они, "единственные в своем роде", истфакковцы выпуска тысяча девятьсот сорок первого года?

КТО ОНИ и почему "В СВОЕМ РОДЕ"?

Эти дотошные книжники, неутомимые спорщики, ночные завсегдаит читалок на Стромынке, постигавшие жизнь человечества с самых дальних ее истоков (эту неохватную панораму, какая, однако, удивительным образом вписывалась в единственную истину "монистического взгляда")... Ораторы комсомольских собраний, обвинители и заступники в одно и то же время и зачастую (да, чаще всего!) в одном и том же лице; чистосердечные даже в честолюбии и отходчивые не только по молодости, но и в силу веры, с детства приучившей их распределять свет и мрак в пропорции, какая при всех "зигзагах" и ухмылках времени неизменно отдает преимущество земному будущему перед любым прошлым — собственным и "чужим"... Свежеиспеченные эрудиты и юные полиглоты, чемпионы стихотворных перевертышей и популярные гимнастки в черных сатиновых трусах, энтузиасты театрализованных "монтажей", гремевших на весь Университет. Простаивавшие ночи у мхатовской кассы, исходившие восторгом, слушая Владимира Яхонтова, не пропускавшие ни одного из выступлений Марии Бабановой и Ирмы Яунзем. Те, кого срывало с места, когда набатный голос Эрнста Буша, наполняя собой студенческий клуб, звал на битву с фашизмом. Кто день 14 апреля (ухода Маяковского) отмечал как особенный — во славу и защиту поэзии; кто умудрялся соединять пристрастие к качаловскому Ивану Карамазову, доискивавшемуся истины последнего сомнения, с живущим сиюминутным Завтра, наивным и неумолимым Зябликом из студийского "Города на заре", кто знал наизусть тревожно-близкого Пастернака, жизнелюбца назло всему, и оставался открытым к непривычному, пришедшему издалека Эрнесту Хемингуэю, его жесткому слову, исполненному боли за присущую человеку несправедность.

Нынешний молодой читатель! Ты вправе усомниться и отклонить беглый перечень черт и примет нашего поколения, посчитав его избирательность нарочитой и

слишком клонящей к добродетели. Не стану спорить или, напротив, буду, но все же не о том, чего больше позади — приобретений или утрат, скверны либо блага. Нет счета произвольнее, чем этот, и нет ничего более отдаляющего от тайны недоволевшегося порогового поколения, чем всякая попытка разложить его человеческую природу по полочкам функций и дел. И в доказательство, что вопрос, поставленный выше, не праздный, не поддельный, — эти письма. Не один лишь их словесный смысл, но и произвольность дыхания — их "синтаксис". Что достовернее и загадочнее?

Результат — еще даже не вопрос, а лишь ступень, ведущая к тому вопросу. И не законченная картина жизни, а только отрывки, обломки, подробности ее и детали. Да и будь их больше, окажись они сохраннее — в людях и событиях, все равно и в лучшем случае не составили бы чего-то сплошного и однородного. Тем не менее (и как раз поэтому!) даже неполное собрание этих живых свидетельств явило цельный облик. Чем дальше продвигалась начатая нами работа, тем разительнее и неожиданней возникала перед нами сцепка различий, заметнее становились узелки связей между одним бытием и другими, тем сильнее представляла человеческая взаимность в мыслях и чувствах, но и в чем-то существенно большем, чем мысли и чувства. Была еще как бы взаимность прорицающая. И мы, подобно первооткрывателям, побрели по этому следу, наблюдая, как возникала она, прорицающая, как удерживала себя, обходя препятствия и преодолевая их, чтобы достичь, наконец, своего зенита и своей развязки в испытаниях и обвалах войны.

...Дружба, дружба — сколько о ней страстных и пристрастных, ликующих и скорбных слов на выцветших листках писем. "В одном мы успели, — пишет из ополчения Муся Гинзбург, — у нас дружба на жизнь". "Нашелся ли Забродин?" — спрашивает любимую девушку Лев Сечан, готовясь к десанту во вражеский тыл. И как ответ — слова из открытки Кости Забродина, однокурсника, также вступившего на борьбу с фашистами в первые дни войны: "Пиши мне больше, ибо я жадно ловлю каждую строчку от своих". "Не знаю, чем я заслужил такую любовь, — откликается на письмо университетского друга-

фронтовика Иосиф Босин, но уверен твердо в том, что пока жив буду, все силы положу на то, чтобы наша дружба росла и крепла". "Я знаю, как бесконечно твое горе, — из письма Яна Пинуса подруге погибшего товарища. — Я не хочу расстраивать тебя после того, как Леля окончательно разрушила мои надежды, сообщив, что погиб Ося Босин. Я как-то особенно почувствовал отделяющую нас от счастливых лет университетской жизни пропасть. Саша, Муся, Ося, Лева Сечан, а теперь страшное трехмесячное молчание милого Вали [Вайсмана]. Этого достаточно". "Мне было бы мучительно не по себе и стыдно перед памятью погибших товарищей [...], если бы я не стремился всеми силами опять на фронт" (Юрий Маслеников).

Кто упрекнет нас в преувеличении, если эти слова нежной заботы и мужской привязанности назовем ни с чем не сравнимой религией дружбы?

Сколько их в письмах — призывов и просьб — сообщить об участии и местонахождении однокурсников! Пересиливая себя, мы вынуждены были порой сокращать эти бесконечные повторы, хотя нам дорог каждый такой факт, любая деталь. Думаю, они нужны также и всем ныне живущим — не как заданный урок, а как стимул к сопоставляющему размышлению.

За сто лет до названных событий наш соотечественник, имя которого давно стало символом ума и благородства, писал в одной из своих ранних статей: "Наполеон говаривал еще, что наука до тех пор не объяснит главнейших явлений всемирной жизни, пока не бросится в мир подробностей. Чего желал Наполеон — исполнил микроскоп. Естествоиспытатели увидели, что не в палец толстые артерии и вены, не огромные куски мяса могут разрешить важнейшие вопросы физиологии, а волосяные сосуды..." И Герцен заключал: употребление микроскопа надо ввести теперь в нравственный мир. Ибо, повторим за ним, только рассмотревши "нить за нитью паутину ежедневных отношений", можно разобраться в человеке определенного времени, в его побуждениях и поступках, в природе его колебаний и в характере преодоления им собственных слабостей.

Существенно ли это для истории, в которой прямо и окольно, по собственной воле и влекомые необходимо-

стью участвуют миллионы и миллионы? Заманчивей сказать — да, нежели — нет. Но совпадает ли это признание с действительностью? Что и говорить, на расстоянии, большем, чем просто годы, мир нравственных подробностей виднее и значительней. Историческому же описанию и пониманию так будто и наречено — укрупнять задним числом, воздавать должное мертвым. Столетия удовлетворялись подобным *post factum*. Потомки признавали и оспаривали предтеч тем успешнее, чем глубже вникали в их жизнь; истраченное на это время окупалось благоприобретенным опытом. Но век Двадцатый своими устрашающими жертвами, коим несть числа, внес поправку. Вплотную сблизивший гибель с жизнью, он настаивает, чтобы жизнь заново осознала смерть и вновь определила собственную суть — в каждом отдельном человеке и во всех людях без малейшего изъятия. Он, уходящий век, не простит промедления, ему дозарезу нужны подробности жизни им погубленных, мотивы заклания себя смерти.

Как историки мы призваны откликнуться на требование своего века. Но у нас и особый долг — память о друзьях. Долг особый и ресурс понимания особый. Горечь воспоминаний — лишь пролог к усилию восстановить "паутину ежедневных отношений", через них же — воскресить ту генерацию людей, которых ранняя гибель лишила прямого продолжения. Прямого — да. А минуя поколенческую очередь? А явившись в Завтра еще не известной возможностью: **НРАВСТВЕННОЙ ЭВРИКОЙ НОВОГО ИЗВЕЧНОГО "БЫТЬ"?!**

Еще одно не упустить бы, говоря об этом. Письма, которые мы перечитываем сегодня как послание из того мира, поражают естественностью звучания во всем, чего касаются их авторы: нового, непривычного, не без труда осваиваемого ими военного быта, воспоминаний о недавней жизни, мыслей о предстоящем — личном или надличном. Естественность эта при всем многообразии обнаруживает близость в неодинаковых речениях и характерах; она, по понятным причинам, всего сильнее и свежее выявляет себя в письмах, адресованных подругам, — посланиях, которые (надеемся, читатель согласится) составляют нравственную и интеллектуальную сердцевину этой публикации. И притом — ни надрыва, ни ложного

пафоса, никакой подделки под расхожие символы и штампы — и это-то у самых заядлых книгоманов и "политиков". И еще одна общая черта — сдержанность тона даже самых страстных посланий, склонность к шутке, способной сохранить или вернуть бодрость любимому человеку.

Кстати: в нашей университетской жизни шутка, острота, дружеская насмешка и игра в слово занимали особое и еще, пожалуй, недостаточно оцененное место. Конечно же, это была и дань возрасту, умственная гимнастика молодости. Но не только. Тут замешано и почти инстинктивное упорство в отстаивании своего Я, здесь в подспуде то, что вдумчивый нынешний лингвист назвал бы языковым сознанием, ищущим соответственное себе языковое поведение: свою вольность и собственные императивы, свою меру и незаконченность, открытость, противящуюся загодя поставленным границам, — все, что, перерабатываясь в слово, дает в осадке личность либо то, что ей предшествует. Как бы хорошо пополнить этот сборник эпистолярными и иными письменными памятниками предвоенной истфаковской поры. Мы позволили себе сделать это лишь в двух случаях, поместив письма 1939 — 1941 годов: Ивана Кору — родным и Саши Осповата — своему брату. Они, конечно, непохожие, эти письма, с явственными отличиями в манере и интонациях; сближает же их и роднит с позднее посланными фронтовыми треугольниками полнота ощущения собственных сел, чистота побуждений, поразительное, а порой даже забавное смешение ума с простодушием — та жизнеспособность, что еще только обретала собственное поприще.

Теперь мы слишком хорошо знаем, что связка речи с совестью и мировосприятием до чрезвычайности хрупка, что ее — нарушенную и искаженную — восстановить труднее, чем любые другие создания ума и сердца. Но пока она жива, пока человеческое слово в силах органично переходить в действие, тогда — в момент испытания на разрыв — рождается поступок, творится, подвиг, не с экзальтацией в основе, а с осознанием долга, исключаящим бегство от ответственности.

На другой день после первой нашей встречи, в 1936 году, мы направились на стадион "Динамо", где проходил митинг в поддержку испанских республиканцев. Испания, вступившая в единоборство с фашизмом, домашним и завезенным, стала эпиграфом к нашей совместной жизни. А сама жизнь, в свою очередь, оказалась вступлением и к страшному 22-му июня, и к незабываемому 9-му мая — дню сообщая добытой Победы, после которой начинается уже иной Мир — со своими обретениями, с другими напастями.

...Двадцать восемь наших однокурсников не вернулись в мирную жизнь. Двадцать шесть из них предстанут на страницах этой книги;

судьбы Константина Бровкина и Николая Клягина еще не удалось восстановить. Каждое имя дорого нам. Но два произнесем отдельно. И имя Лизы Шамшиковой — фронтовой сестры, умерщвленной нацистами вместе с ранеными красноармейцами, которых она защищала до последнего вздоха. И имя Иры Можайской — медсестры из Кронштадта, погибшей в бою во время геройского и трагического Мерекюльского морского десанта.

Вслушайтесь же в голоса сраженных! Это они, вновь живые, обращаются к тем, кто есть, и к тем, кто будет.

# ПАМЯТИ

## ЕЛИЗАВЕТЫ ШАМШИКОВОЙ

### И ИРИНЫ МОЖАЙСКОЙ

У каждого подвига своя родословная. Лишь в редких, исключительных случаях он замкнут в судьбу одного человека, значительно чаще (и даже как правило) сопряжен с жизнью других людей, а в конечном счете — и с историей. Связь эта бывает как ближняя, непосредственная, так и дальняя, пролегающая через память, которая на свой лад ширит число людей, прикосновенных к подвигу одиночек. Тогда раздвигаются и границы его, собственно говоря, им уже нет предела ни в пространстве, ни во времени.

Именно такими предстают перед нами сегодня последние мгновения жизни Иры Можайской и Лизы Шамшиковой, бросающие свет на все, что им предшествовало в детстве, в юности, до и во время войны

Детство Лизы было счастливым: в кругу большой семьи, где отношения строились на умном и чутком родительском слове и общем труде. Ее отец, Александр Яковлевич Шамшиков, был выдающимся сельским педагогом и организатором; в 1920-е годы он заведовал Стрикинской девятилеткой — единственным тогда средним учебным заведением на многие десятки деревень Тульской и Орловской областей. Воспитанник его, генерал В.А. Никольский, отмечает в своем учителе соединение строгости со справедливостью. Думается, что эти качества заимствовала у отца и Лиза; у матери же, Елизаветы Петровны, восприняла она наряду с заботой о ближнем любовь к родной словесности. "Елизавета Петровна, — читаем мы в воспоминаниях Никольского, — даже вечерами выбирала время для дополнительных занятий по своему предмету и читала нам вслух Пушкина, Толстого, Тургенева, Лермонтова [...] А ведь некоторые из нас приходили в школу, буквально не умея говорить по-русски: "чаво" (вместо чего), "табе", "сабе", (тебе, себе), "шугун" (чугун)... "

Выбор Лизой одной из гуманитарных дисциплин был предрешен. Русский XIX век так же естественно стал на истфаке ее специализацией. Знания ложились на изначальную тягу к определенности в поступках и верности идеальным образцам. Такой она была и в качестве комсорга, неформального лидера общежитейских девушек, и в роли организатора женской пулеметной школы, такой была на курсах медсестер, такой пришла в армию. Некоторым она казалась (и не без основания) дидактичной, и лишь немногие могли оценить по достоинству требовательную нежность ее души, и уж совсем мало кто знал, с каким терпением и скрытым от постороннего взгляда мужеством переносила она мучительную болезнь... То, с чем не справлялась медицина, сделало душевное напряжение начала войны: недуг отступил.

Об Ире мы знаем меньше, может потому, что она была несколько старше большинства наших девушек и держалась как бы в тени. У нее было трудное детство, рано начала она зарабатывать на жизнь. К археологии пришла и по влечению, и как человек трудового уклада. Об этой не очень разговорчивой девушке с мягкой улыбкой, об ее умении тихо радоваться жизни, о том, почему сумела она отпечататься в других судьбах, вовсе не стремясь к этому, — рассказывает близкая ей Мара Гвоздовер.

Судьбы Лизы и Иры совпали — продиктованные обстоятельствами войны и свойствами человеческого характера. Они не хотели довольствоваться тем, что было бы, прямо скажем, достаточным для женщины на войне. Обе добивались места только на переднем крае. И Ира, и Лиза не искали смерти, но когда смерть придвинулась вплотную к ним, они нашли силы встретить ее в согласии со сделанным ими добровольным выбором.

О подвиге Лизы стало известно сразу после гибели. И посмертная слава не обошла ее. На пепелище 1941 года — месте, где оборвалась Лизина жизнь, — бережные руки воздвигли памятную стелу. Имя Елизаветы Шамшиковой носит ныне улица в ее родном Щекине и улица в Белеве, близ которого она погибла. Участь Иры долгое время оставалась неизвестной, как и судьба всего морского десанта, высаженного около эстонской деревушки Ме-

режюла на рассвете 14-го февраля 1944 года, во время ожесточеннейших боев за Нарву.

"Это одна из тайн войны. Тайна тяжкая и суровая", — сказал о десанте адмирал флота В.Ф. Трибуц спустя годы после свершившегося. Теперь эта тайна полностью раскрыта. Стали известны и общая картина десанта, и многие подробности его, эпизоды отчаянной храбрости морских пехотинцев, из которых в живых остались единицы. Стало известно, что Ира Можайская погибла в самом пекле этого сражения, спасая раненых и отбиваясь с оружием в руках от наседавшего врага.

Нельзя не сказать здесь, что в восстановлении судьбы и доброго имени "масловцев", бойцов десантного отряда, большую роль сыграли активные поиски и настойчивые действия целого ряда людей, в числе которых подруга Иры, наша однокурсница, бывшая тогда также медсестрой на Балтике, — Ольга Пахомова-Соколовская. Ниже — ее воспоминания.

Близость жизненных путей и верность законам дружбы позволяют нам поместить рассказ об Ире вместе с рассказом о Лизе.

**8 октября 1941 г.**

Здравствуй, дорогая Галечка!<sup>1</sup>

Имею возможность тебе черкнуть пару строчек. Нахожусь временно в Туле, но, по-видимому, в самое ближайшее время тронемся в путь далекий. Работаю в батальоне военфельдшером и командиром санитарного взвода. Работы страшно много, на ходу приходится часто самой учиться и осваивать неизвестное.

Живем в строгих спартанских красноармейских условиях. Встаем в 5 часов утра и до 12 часов ночи приходится быть на ногах.

Как живете? Мой горячий и сердечный привет Шу-ре, Володе, а также всем истфаковцам и людям, знающим меня. Если сможешь, пришли чистой бумаги.

Всего, всего наилучшего.

Крепко тебя целую. Пиши.

Любящая тебя

*Лиза*

---

<sup>1</sup> Письмо адресовано сестре Лизы Шамшиковой — Галине.

## Е.П. Шампшикова. СЛОВО О ДОЧЕРИ<sup>2</sup>

Дорогие мои юные друзья! Вы друзья моей дорогой, безвременно погибшей Лизы, следовательно, и мои друзья. Сегодня только получила ваше письмо с просьбой написать вам о Лизе, ее жизни, воспитании.

Лиза — ровесница Октября. Она росла вместе с Октябрем, впитывая в себя самое лучшее, светлое, радостное, что дала нам революция.

Помню, как она радовалась, будучи совсем крошкой, когда ей в день Октября прикололи звездочку. Для нее был великий праздник, когда она впервые надела пионерский галстук. (И на мой вопрос, что означает пионерский галстук, какие он накладывает обязанности на пионера, какой должен быть пионер, пионерка, Лиза серьезно и сосредоточенно стала мне говорить об обязанностях пионера. Правда, в возрасте 9—10-летней девочки еще было много заученного, что она не совсем хорошо понимала, но уже и тогда чувствовалось и видно было, как она всею своею душой, всем сердцем своим хочет быть настоящей пионеркой.) Она была первой помощницей отцу, тоже учителю, в работах на огороде и в саду: копала землю, делала грядки, полола, поливала, ухаживала за цветами. В доме она старалась помогать во всех работах, для нее не было понятия "грязное дело", мыла полы, стирала белье, прибирала и убирала в комнате. Когда она была в 5—6 кл. средней школы, пионерские организации поручали ей ответственные работы. И ни разу не было случая, чтобы она отказалась или бы не выполнила порученную ей работу.

Помню, она должна была обучать грамоте одну пожилую уже женщину. Как же она старалась, как готовилась к каждому уроку! Она, бывало, не отстанет от меня, пока сама не поймет, как надо объяснить старушке ту или иную букву. А сколько было радости, когда ее ученица стала понемногу читать!

---

<sup>2</sup> Из письма, полученного студентами исторического факультета МГУ. Впервые опубликовано в газете "Московский университет", № 26, 16 июня 1944 г.

В комсомольской организации Лизу любили и ценили как одну из лучших комсомолок, как лучшего товарища, который всегда поможет каждому во всем, чем только может помочь. За серьезное, точное и внимательное отношение к работе, к учению ее уважали товарищи по школе, а учителя и сейчас вспоминают Лизу как одну из тех учеников, которые никогда не остановятся перед трудностями, никогда не бросят незаконченного дела.

Такова была Лиза, когда поступила на первый курс истфака, такую ее знали и ее товарищи-однокурсники.

Лиза была веселая, жизнерадостная девочка, такую она осталась и взрослой девушкой. В ее больших синих глазах, окаймленных черными ресницами, выражался весь ее внутренний мир, все ее чувства, все переживания в данный момент.

Передо мной три ее фотографии с разными выражениями глаз: вот в них серьезная деловитость, вот любовь и радость жизни, а вот презрение и гнев (такими глазами, я уверена, она смотрела в лицо своим врагам, готовящимся убить ее).

Последний раз я ее видела в августе 41 года, когда она из Москвы приезжала в Щекино. Она мне рассказала, что проходит курсы медсестер, что в настоящее время ведет практические занятия в больнице, а когда окончит курсы, то будет просить, чтобы ее послали на фронт, на передовые позиции. "А когда вернусь, то непременно буду учиться на врача. Какая радость бывает, какое удовлетворение, когда окажешь помощь раненому, страдающему бойцу!"

[...] Смотри на нее, на ее прекрасные, одухотворенные, горящие любовью глаза, я гордилась ею и в то же время мне было бесконечно ее жаль, я как бы чувствовала, что вижу ее в последний раз. И под влиянием этого чувства я сказала: "Лиза, милая, а если не вернешься, погибнешь?" На это она мне сказала: "Кто же пойдет туда, где опасно, кто будет помогать там раненым, если не мы, члены партии, я считаю это своим долгом". Мне на это нечего было сказать. Я чувствовала, что она права: она выполняет свой долг.

Лиза была человеком долга. Для нее не было вопроса — выполнит она или нет взятую на себя обязанность.

Раз взяла, то надо и сделать во что бы то ни стало. И как я ее понимаю и всем своим материнским сердцем чувствую, почему она, зная, что погибнет, презрела смерть, защищая и помогая раненым бойцам [...] милая, она не думала о себе; в этот миг она была полна любви и сострадания к раненым бойцам, ожидающим ее помощи. Мне больно, мне тяжело думать о последних минутах Лизиной жизни. Но я нахожу в себе мужество сказать: "Так, моя милая, так, дорогая, ты поступила правильно. И пусть моя голова поседела от горя, пусть безвременная гибель твоя укоротила мою жизнь, я горжусь тобой" [...]

Мне понятен Володя, брат Лизы, погибший под Сталинградом, когда он в последнем своем письме с фронта писал мне, выражая свои мысли и чувства еще по-мальчишески: "Мама, наша берет, я мщу за Лизу, я считаю, сколько убил немцев, количество их с каждым днем растет. Ты не беспокойся, я за нее отомщу". Мстя за Лизу, он и сам погиб. А сколько погибло юношей и девушек, моих учеников, воспитанных мною в течение 37-летней моей учительской деятельности! Теперь я стара и одинока, нет со мной детей моих, старший мой сын с начала войны на фронте, вернувшись из эвакуации, я не нашла ни квартиры своей, ни своего имущества, но верю и надеюсь, что скоро, скоро враг будет окончательно разбит [...].

Простите меня, может быть, я и не так написала вам, как вы бы хотели, о воспитании и жизни Лизы. Но я учительница, не могла своих родных детей воспитывать как-то отдельно, оторвано от школы, пионерской и комсомольской организаций. Лиза одна из тех многих прекрасных юношей и девушек нашей Родины, которые не только умом, но и сердцем поняли учение наших великих вождей — Ленина, Сталина.

Учительница Щекинской средней школы  
Тульской области  
Елизавета Петровна Шамшикова

## Профессор М. Нечкина.

### ИНТЕРЕС К ПРОШЛОМУ<sup>3</sup>

Лиза Шамшикова была участницей семинара "Чернышевский и его время", которым я руководила. Помню, с каким энтузиазмом Лиза взялась за дело. Она выбрала себе сложную тему — знаменитое "Письмо русского человека к Герцену", напечатанное в "Колоколе" в 1860 году и привлекавшее к себе внимание многих ученых. Лизу чрезвычайно интересовало, кто же он — этот загадочный и не выясненный в литературе автор, не мог ли им быть Н.Г. Чернышевский. Лиза Шамшикова задала себе трудную задачу самостоятельного исследования. Занималась она сосредоточенно и с увлечением. Лиза не отличалась крепким здоровьем. Она нередко хворала, но тем отчетливее проявились волевые качества ее личности, тем дороже был ее кипучий труд, одухотворенный живым интересом к великому прошлому. Чернышевский и его время занимали ее не только как тема доклада. Она любила Чернышевского, ее вдохновлял образ этого великого демократа, страстного борца, человека непоколебимой убежденности. Думаю, что углубленное изучение революционной борьбы деятельности одного из лучших ее представителей — Н.Г. Чернышевского, которого так высоко ценил В.И. Ленин, сыграло свою роль в формировании личности Лизы Шамшиковой, замечательной девушки, героини Великой Отечественной войны.

---

<sup>3</sup> Воспоминание М.В. Нечкиной также из газеты "Московский университет", № 26, 16 июня 1944г.

## **Тюлина И. НА ТУЛЬСКОЙ ЗЕМЛЕ**

Совпадения жизненных коллизий нередко с особенной силой выявляют характер и призвание человека. Так произошло и с Лизой Шамшиковой.

Тулячка родом, она начала войну на тульской земле. Было так, сентябре 1941 года студенток МГУ, окончивших двухмесячные курсы медицинских сестер; распределяли в соответствии с полученными заявками. Помню; все мы старались попасть в число медработников для Военно-морского флота. Но за несколько человек до того, как очередь подошла к нам, набор "морячек" закончился. Мы огорчились; что угодим не на фронт, а, чего доброго, в тыловой госпиталь. Позже, однако, оказалось, что наши девчата, распределившиеся на флот, оказались в главном военно-морском госпитале, местом пребывания которого был Киров-областной (отчего и прозвали их "кировской флотилией"), а те, кто стоял в списке ниже, попали в 330-ю стрелковую дивизию. Она и формировалась в Туле.

Ехали мы туда вместе с Лизой Шамшиковой и еще несколькими девушками. Стали работать в дивизионном медсанбате, осваивали новую профессию уже не теоретически, а в условиях, диктовавшихся жесткими требованиями войны. Началось ведь наступление, в котором немаловажную роль довелось сыграть 10-й армии и нашей дивизии в ее составе.

Хватало трудностей в медсанбате, каково же было Лизе Шамшиковой, принявшей с самого начала командование санитарным взводом в 113-м стрелковом полку. Это начальный пункт из пути раненного –чаще всего помощь ему сказывается непосредственно на поле боя, а от своевременности ее зависит жизнь.

Боевое крещение Лиза получила при освобождении нашей дивизией города Михайлова в декабре 1941 года. Она шла в атаку в первых рядах, увлекаемая своим примером неопытных бойцов. Ее медпункт был под открытым ночным небом, прорезанным трассирующими пулями и освещенным разрывами снарядов. В сорокоградусный мороз ей было жарко, она переползала от одного раненого к другому, перевязывала, накладывала шины и жгуты,

выписывала эвакуационные карточки, отправляла тяжелораненых в тыл.

Бойцы полюбили Лизу и как командира, и как сестру. Она делила с ними все трудности походной жизни. Шамшикова убедительно разъясняла положение на фронтах и международную обстановку, умела поддерживать мужчин-воинов веселым, ласковым, а иногда и строгим словом.

Недалек путь от Рязани до Кирова-калужского (тогда смоленского). А сколько крови и жизней он стоил нашей 330-й стрелковой дивизии! Когда произносят названия деревень Жуковки, Беседино, села Семеновского, "тристатридцатникам" ничего добавлять не нужно. Помним тех, кто там остался навсегда.

...27-е декабря 1941 года. Бой у деревни Беседино затянулся. Фашисты упорно защищались. Улицы по нескольку раз переходили из рук в руки. Лиза перевязывала раненых под огнем вражеских автоматов. Противник бросился в контратаку, наши бойцы медленно отходили.

— Уходите скорее, — крикнул кто-то Лизе.

Но как могла она уйти? Кругом были тяжело раненные, которых нельзя оставить. Лиза услышала чужую речь, но продолжала свою работу. Немецкий офицер оттолкнул ее носком сапога. Лиза вспыхнула, поднялась:

— Я санитарка, — сказала она по-немецки. — Раненные нуждаются в моей помощи.

Офицер отдал приказание солдатам. Лизу и раненых поволокли к сараям. Раздались выстрелы... Последней упала девушка в красноармейской шинели.

Существует и несколько иная версия того, что произошло в тот день. Рассказывали, что Лиза, узнав о приближении немцев, организовала защиту дома, где находились раненные. До последнего патрона отстреливались те из них, кто мог держать оружие в руках. Лиза была в их числе. В ярости фашисты подожгли дом.

Наши части, на другое утро вернувшие деревню Беседино, обнаружили обгорелые тела бойцов и Лизы.

Приказом по войскам Западного фронта Елизавета Александровна Шамшикова была посмертно награждена орденом Боевого Красного Знамени.

О ней в дивизии сложили песню. Ей посвятили специальную главу в написанной по свежим следам событий, еще в годы войны, истории нашего соединения. Ее жизнь изучают теперь студенты Московского университета и школьники тех мест, где она родилась и выросла...

А за оградой братской могилы между Беседином и деревней Береговая (они почти рядом) установлена отдельная плита с краткой надписью: Лиза Шамшикова, 1917—1941.

Ирина Тюлина,  
ветеран 330-й дивизии, доцент МГУ

### ***Гвоздовер М.***

## **ЧЕМУ НАУЧИЛА МЕНЯ ИРА**

Не знаю, кому как, а мне очень трудно с вершин возраста, которому положено быть мудрым, глядеть в собственную юность, стараясь трезво оценить и себя, и своих друзей, определив, как теперь говорят, "кто был кто" в те далекие истфаковские годы. Другие измерения того, что плохо и что хорошо, невольно вторгаются в ушедшую жизнь, да и память человеческая не безупречна, всегда избирательна.

Трудно мне написать и об Ире Можайской. Нет, не потому, что я забыла ее, просто — она во мне, и я уже не могу отделить ее саму и от того, что я о ней думала и думаю, и от того, что она мне дала и что стало в результате со мною самой. Какая же здесь может быть объективность! За давностью лет я едва ли смогу рассказать связно, как жила Ира и что связывало меня с ней. Помню лишь отдельные штрихи.

Ира Можайская была немного старше меня, но дело не в возрасте, а в опыте, который был у нее за плечами. Нелегкая жизнь в семье с неродным отцом; до поступления на истфак у нее уже был трудовой стаж, да и учась на истфаке, она вынуждена была подрабатывать — работала в Историческом музее младшим научным сотрудником. Однажды, помнится, опоздала она на работу (а время бы-

ло "указное" — 1940-й год), сколько было страха, но все счастливо обошлось.

Какая она была? Довольно высокая, смуглая, с легкой татарчинкой в разрезе черных глаз. Неброская, скорее тихая, чем громкая. Все делала не на показ, не на публику. По сравнению со мной она все умела делать и все у нее получалось. Она была веселая, с хорошим чувством юмора. Меня же особенно притягивала к ней ее надежность, ее душевная цельность — мягкая, однако непреклонная; нет, это не было упрямством, а именно — определенностью.

Училась она без блеска, но увлеченно. По археологии славян, которой собиралась заниматься, много и упорно читала. Не думаю, что из нее получился бы "великий ученый", но абсолютно уверена, что она «казала бы свое слово в науке и этому слову можно было бы доверять полностью. Другом она была верным, теплым и искренним. Однако требовательным, не всегда и не все прощающим. Думаю, что жизнь она знала лучше большинства наших истфаковских юных максималисток. Это я понимаю теперь.

Война сместила все точки отсчета. "Мы все рвались на поле боя, когда пришла военная пора..." Школа медсестер Красного Креста. Волею судьбы почти весь наш выпуск попадает осенью 1941 года в Кировский военноморской госпиталь.

О госпитале этом рассказ особый. Он был поставлен в медицинском отношении чрезвычайно высоко, работали там опытейшие врачи, среди которых были и настоящие светила. Но, пожалуй, главной "достопримечательностью" его в то время, о котором речь, была дружная семья медсестер — студенток МГУ. Думаю, что я не преувеличу, сказав, что их рвению и самоотверженности многие из раненых обязаны не только выздоровлением, но и жизнью. Не одного человека выцарапали мы у смерти.

Сердце госпиталя — операционная. Чуть ниже по рангу — перевязочные. Тут работали самые умелые и надежные. Ира работала перевязочной сестрой.

...Напряженные будни, но все же не фронтовые. Сколько рапортов по инстанциям и в обход их мы от-

правляли с просьбами об отправке на фронт! Молчание или отказы — почти всем.

Мы по-прежнему дружим с Ирой, спим друг над другом в нашем "кубрике", делимся всем, что имеем, и, кажется, самым сокровенным. И вдруг я узнаю, что рапорт Иры, как и Ольги Пахомовой и Шуры Серебровской (аспирантки биофака), удовлетворен. Почему же она не сказала об этом мне? Отчего этот рапорт не стал нашим; общим? Что — она не хотела, чтобы я была с ней, в чем-то не доверяла мне?! На мои вопросы перед отправкой Ирина отвечала ласково: если бы было много подписей под рапортом, никого из нас не отпустили бы. Все вроде логично, но какой-то червь сомнения продолжал меня мучить — только ли поэтому скрыла она от меня свой рапорт? После войны я с этим же вопросом обратилась к единственной, кто из этой тройки уцелел, — к Оле Пахомовой. Она ответила примерно то же, добавив, что Ира любила меня и хотела как-то уберечь и что их отпустили лишь потому, что они были опытными перевязочными сестрами, а я нет...

Я абсолютно уверена в том, что если бы попала на фронт такой девчонкой, какой была тогда, я бы не посрамила нашей дружбы, но вместе с тем то, что Ира не захотела "взять меня с собой", было долгое время мучительной болью и стыдом, толчком для глубокой внутренней работы, для переоценки себя. А самым высоким для меня критерием ценности человека стала с тех пор его надежность.

Вот как получается: хотела написать об Ире Можайской, а пишу о себе. Может, это и естественно.

Ушедшие продолжают жить в нас, вплетаясь в жизни тех, кто помнит их. Именно их, а не о них.

*Марьяна Гвоздевер*

**Соколовская О.**

**ИЗ КРОНШТАДТА В МЕРЕКЮЛА**

С 1936 года, когда мы поступили в Университет, и почти до конца жизни Иры мы были с ней неразлучны. Вместе занимались, вместе, задолго до войны, окончили пулеметную школу и в торжественной обстановке, на сцене клуба МГУ, получили удостоверение "Ворошиловский пулеметчик"...Многое было за те пять лет переговорено, перечувствовано.

На курсы медсестер, организовавшиеся в первые же дни гитлеровского нашествия, попали мы не сразу, ведь в качестве выпускниц уже получили назначение на работу. Пришлось походить в Наркомпрос, 1 горком комсомола, чтобы исхлопотать разрешение на переход. Курсы мы (вместе со всеми) окончили досрочно и также вместе с большинством окончивших распределились в распоряжение Санитарного управления Военно-морского флота. Велико же было наше разочарование, когда оно отправило нас в тыл — сестрами в госпиталь.

Мысль пробиться на передовую не оставляла Иру и меня, как и других наших девушек. Убедившись, что рапортами цели не достигнешь, мы обратились с личным письмом к высшему медицинской и начальнику ВМФ. Летом 1942 года последовал ответ: Шуру Серебровскую и нас двоих откомандировать из Кирова в Ленинградский флотский экипаж. В августе мы прибыли, а блокадный Ленинград оттуда — в Кронштадт. И тут все началось сызнова... Начальник санитарной службы КМОРа (Кронштадтского морского оборонительного района) и слушать не хотел о зачислении нас в действующую часть. "Романтики, — назвал он нас. — Вы ведь окончили Университет; я не хочу рисковать вами. В госпиталь и никуда больше!"

Но нам снова повезло. Недели через две, уже работая в госпитале мы услышали, что в Кронштадте формируется особый отряд моряков-автоматчиков. Возглавил его капитан Гранин, знаменитый участник обороны полуострова Ханко. К Гранину мы и "сбежали" — написали рапорт с просьбой о переводе и вручили его из рук в руки комиссару этого отряда. Так началась новая полоса нашей жизни — последняя для Иры.

В отраде шла усиленная подготовка к десантным операциям — диверсионным и разведывательным. Весь

сентябрь и октябрь 1942-го проходили тренировки: обычно ночью наша санитарная часть во главе с очень суровым, строгим доктором Кратовым погружалась на плавсредства и уходила в залив. Находясь в трюме, мы не знали, куда именно идем, ко каждый раз убеждали себя, что это уже касто-я1щее дело. По команде «в воду» высаживались в студеное по-осеннему море, да и глубина была солидной. Затем начиналось "просачивание" на территорию условного противника.

Большинство медиков, в их числе и Ира Можайская, были приданы ротам в качестве санинструкторов. Нам пришлось овладеть всеми знаниями и навыками, требующимися десантнику, — научиться, действовать скрытно и быстро, передвигаться по-пластунски с автоматом в руке и санитарной сумкой на боку; учились и переносу - раненых на плащ-палатке. Было; конечно, трудно: мерзлая, мокрая, одежда сковывала движения, но никто не жаловался на свою судьбу и даже не болел.

На исходе 1942-го года наш отряд влился в прибывшую в Кронштадт 260-го отдельную бригаду морской пехоты. Ира Можайская и Шура Серебровская были назначены санинструкторами в батальон автоматчиков, которым командовал майор Степан Петрович Маслов, я же осталась в роте, сформированной из бойцов бывшего отряда Гранина. И хотя мы сказались в разных подразделениях, но по-прежнему спали вместе, в помещении, выделенном для девушек-санинструкторов.

Будни морских пехотинцев, охранявших остров Котлин, были достаточно напряженными и тревожными. Немцы не оставляли намерений доканать Ленинград. Фронт стоял «на месте», но это требовало усилий и жертв. Рота Ирины несла зимою дозорную службу на льду Финского залива, неделями держала оборону под Петергофом. Жили в будках, сколоченных из досок и обложенных снегом.

Помнится, 8 марта 1943 года Ирина выступила на торжественном собрании бригады с докладом "О героизме русских и советских женщин". Сама я не слышала этого доклада, так как наша рота была тоща у Петергофа, но Шура Серебровская рассказывала, что моряки слушали Иру очень внимательно, привлеченные интересными фак-

тами, которые почерпнула она из книг и памяти (тряхнула истфаковской "стариной!"), а взволнованная интонация доклада нашла отклик в сердцах молодой аудитории, уже познавшей беды войны и горечь потерь.

Летом же батальон Маслова перебазировался на "большую землю", где на одном из аэродромов проходил парашютную подготовку. Ира удачно выполнила несколько прыжков, теперь на ее гимнастерке рядом с медалью "За оборону Ленинграда" синел значок парашютиста. В декабре Ирину перевели в медсанбат бригады, но когда стала формироваться санитарная часть для готовящегося крупного десанта, она была включена в ее состав.

Мы встретились с Ирой в казарме накануне отплытия (2 февраля 1944 года). Простились спокойно, не ощущая страха, верили, что все пройдет удачно, победно. Я завидовала Ирине, что она идет на большое дело. Никто из нас, конечно, не знал, где и когда произойдет высадка, известно было лишь, что десант пока уходит на остров Лавенари, примерно в ста километрах на запад от Кронштадта. Говорили, что вслед за бойцами Маслова пойдут и другие батальоны.

О том, что произошло, мы тогда узнали лишь обрывками. Пелена безвестной гибели встала между оставшимися и ушедшими в бой. Прошло двадцать семь лет. Главное прояснилось, но, к сожалению, далеко не все, слишком мало осталось свидетелей. То, что удалось установить в результате упорных розысков, собрано в книге В.И. Гринкевича "Разве можно забыть Мерекюла?", изданной в 1979 году. Я не стану повторять сказанное там, ограничусь лишь самыми краткими сведениями, без которых не понять последние дни, часы и минуты в жизни Иры Можайской.

...В январе 1944 года пришел конец мучениям ленинградцев. Была ликвидирована блокада, наши войска двигались к югу и западу от города. Начались долгие, жестокие бои за Нарву. Противник переходил в одну контратаку за другой. С тем, чтобы облегчить положение наступающих войск. Балтийскому флоту и было приказано высадить десант в тыл врага, перерезав пути сообщения Нарвы с Таллинном. В районе между Мерекюла — местом высадки на эстонском побережье — и железнодо-

рожной станцией Аувере морские пехотинцы должны были соединиться с частями 2-й армии генерала Федюнинского.

В ночь с 13 на 14 февраля отряд С.П. Маслова (свыше пятисот человек) приступил к осуществлению задания. Оно оказалось много тяжелее любых предположений. Только первая группа десантников не была замечена противником, вторая же и третья, основная, группы высаживались под ураганным огнем. С самого начала — обильные жертвы. Вышли из строя все радиостанции, поэтому корабли, сопровождавшие десант, не могли поддерживать его своими орудиями. Наступление 2-й армии было отражено немцами. Разобщенные группы десантников остались один на один с врагом, который перебросил сюда мощные подкрепления: на каждого морского пехотинца приходилось до тридцати немецких солдат с танками, артиллерией и самолетами.

Вопреки всему десантники выполнили поставленную перед ними задачу. Они вышли в заданный район, нарушили линии связи противника, взрывали склады боеприпасов, уничтожили много его живой силы. Однако исход борьбы был предрешен. Ряды десантников редели. Один из оставшихся в живых вспоминает: "Медицинские сестры Ирина Можайская и Надежда Ковалевская выбивались из сил, перевязывая раненых. Они плакали от своего бессилия, от того, что ничем не могли помочь тем морякам, которые при высадке зачерпнули воды в прорезиненные костюмы и теперь замерзали". Рассказывают, что в поисках выхода девушкам пришлось в голову использовать для обертывания ног шинели убитых немецких солдат. Под огнем ползли они к трупам и отрезали куски сукна.

15 февраля немцы окружили высоту, где занимала оборону центральная группа десантников. Тут и закончилась жизнь Иры... В 1972 году я встретила с участником десанта Николаем Васильевичем Сазоновым, которого тяжело раненым немцы захватили в плен. Он вернулся домой без ног; учительствовал на Рязанщине, приобрел известность как педагог, недавно умер. Последнее, что он видел и слышал тогда — перед тем, как потерял сознание:

Маслов, сраженный автоматной очередью, и Ирина, бросившаяся к нему с криком:

"Комбат!" Она упала возле, сраженная, очевидно, тем же фашистским автоматчиком. Это было во второй половине дня 15 февраля 1944 года.

...Каждый год мы приезжаем из Таллинна на место высадки десанта, бываем в школах, рассказываем ребятам об этом подвиге. Дни эти для нас очень скорбные, а мне писать об этом особенно тяжело. Ведь живые всегда чувствуют себя виноватыми перед мертвыми.

Больше ничего не могу добавить.

*Ольга Соколовская*

## ОНИ УШЛИ ПЕРВЫМИ

Тысяча девятьсот сорок первый: лето, осень.

Общий выбор — и разные маршруты.

Один именовался "спецзаданием". Задано было — выстроить на западе России, на дальних подступах к столице, сплошной противотанковый рубеж. К верховьям Десны и Днепра шли с конца июня эшелоны молодых москвичей, в их числе (в составе батальона МГУ) взвод выпускников-историков. А несколькими днями позже начался призыв в ополчение: историки становились артиллеристами. Ближе к осени оба потока окажутся рядом, рукой подать, — Рославль, Ельня, Дорогобуж.

Наша, истфаковская, Москва пустела. Девушки уходили в медсестры либо отправлялись учительствовать, принимая там двойную, тройную нагрузку — школы и физического труда, бережения и воспитания "чужих" и своих детей. Жизнь разбрасывала — от фронта до Амура; разъединяя географией, заново собрала уже историей, теперь собственной.

...Первые вступившие в схватку. Первые шаги в память.

От Кости Забродина остались две наспех написанные открытки. В них — он, но, конечно, не весь он. Да и в жизни еще не успел выявить и воплотить то, что было заложено в его добротной натуре. Он был спокойный и веселый, любил и умел сблизиться с людьми — и с теми, кто не похож был на него самого. Одиноким представить себе Костю просто невозможно.

Мы его помним и забавным персонажем из самостоятельного мольеровского спектакля, и отличным спортсменом, и надежным авторитетным "командором" лодочного похода по реке Белой, и усердным начинающим археологом (умел и копать, и разбираться в найденном).

А затем, в 40-м, — участник финской кампании, один из пяти наших однокурсников-добровольцев. Сразу из аудитории — в Серпухов, на ускоренную подготовку. Правда, "легко-лыжные эскадроны", в которые были за-

числены он и его друзья прибыли на место боевых действий к самой развязке, но прикоснуться к тому, что есть война, они успели.

"Сознание постарело" — резюмировал (в дневнике) пережитое там их старший современник Александр Твардовский. Более молодые и меньше пережившие так бы о себе не сказали. Их сознание еще не состарилось, но, без спору, заметно повзрослело. В отношении Кости это наблюдение кажется особенно справедливым. И к войне редко кто из нас был готов и физически, и морально так, как он.

С первых дней фашистского нашествия Константин Забродин в поисках своего места. Об этом пишет Я. Дробикин. К сказанному им добавим: из народного ополчения Костя перешел в истребительный батальон Красной Пресни; во время первого налета немецкой авиации на Москву он в охране Ваганьковского моста. Но его не устраивали никакие "отсрочки" — фронт и только фронт! Райком пошел навстречу: в числе 500 активистов московского комсомола Костю зачислили в особый комсомольский батальон Военно-политического училища. Товарищ по батальону вспоминает доброту его, уживчивость, смекалистость и находчивость.

Последние слова: "С нетерпением жду минуты, когда перед глазами появится ненавистная свастика". Эта минута подвела итог его жизни.

...Льва Сечана можно было бы назвать Костиным антиподом, если бы о людях стоило судить лишь по обыденным проявлениям характера, по внешним приметам ума. На самом же деле их, особенно с тех дней, как вместе ушли на "финскую", связывала тесная дружба, в основании которой лежало родство душ.

"Он был немножечко другой, чем все", — говорит о Леве его школьная подруга, женщина, к которой обращены публикуемые письма. Ее рассказ как дагерротип невозвратимого времени. На нем прежние Сокольники, маленькая комнатка в старом доме, на месте которого теперь бензоколонка. Школа, именовавшаяся образцовой: преподаватели — из лучших (даже авторы учебников!), ученический же контингент был весьма пестрым (Богородское поставляло "настоящих бандюг", хотя иным из

этих непутевых и неприкаянных ребят не чужд был и своеобразный кодекс чести — защищать своих одноклассников, соседей по двору...). Тут Лева получил и знания, и житейскую закалку. Узкоплечий, на вид не сильный мальчик, никогда не вступавший в драку, он пользовался уважением у всех. Чем завоевал его? Своей ли несуетливостью, ироничностью или ранней и непреходящей любовью к книге (чтение — главная страсть), или еще какой-то особенной легкостью, гусарством, романтической тягой к необыкновенному?!

Был он любимцем и на истфаке. Учился хорошо, хотя и не всегда в полную силу. Действительный же интерес к науке стал пробуждаться у него, когда он встретился с человеком другого поколения, чем-то неуловимо напоминавшим его самого. Человек этот — Марк Соломонович Зоркий, руководитель кафедры новой и новейшей истории. Из комсомольцев первого призыва, эрудит и стилист, с острым умом и пером, уже испытавший к тому времени и встряски, и страхи, но сохранивший вкус к жизни, он сумел собрать вокруг себя способную молодежь и заложить в предвоенные годы фундамент университетской школы марксоведов (текстологов и исследователей). Его спецкурсы и семинары дышали творчеством, в студентах он видел и единомышленников, и друзей.

На четвертом курсе Лева сделал в семинаре Зоркого доклад "Польский вопрос в I Интернационале", а в качестве темы курсовой работы избрал "Критику Готской программы" Маркса — ее происхождение, литературную и идейную судьбу. Приходило ли тогда в голову этим двум людям, профессору и студенту, что их жизненные дороги не просто соединит, а сольет воедино зов и бедствие войны? Ополченца-комиссара Марка Соломоновича Зоркого в последний раз видели безнадежно раненного на Смоленщине в октябрьские дни 1941 года, последнюю же весточку о десантнике Льве Сечане принес освобожденный Победой его товарищ — узник нацистского лагеря.

Каким был Лева, досказывают письма подруге. Даже не письма, записки (со Сходни, под Москвой, где учился он действиям в немецком тылу, затем последнее, из Киева). Непросто вникнуть в код этих нежных и смешливых, взволнованных и будничных строк. Это код бли-

зости — и код жизни. И может быть, в нем объяснение того, что дошло лишь обрывками рассказа об участии Левы, "Леонида Шатуновского" (так он назвал себя в плену, взяв фамилию матери), в лагерном, интернациональном по составу Сопротивлении. К сожалению, человек, который отыскивал родных Левы, не оставил адреса, да и судьба его неизвестна. В памяти же младшей сестры сохранились лишь мимолетные подробности: Леву любили "французы", подкармливали, когда он тяжело болел... Где окончилась жизнь Льва Сечана, неизвестно, по словам сокамерника, его, выданного предателем, увезли в гестапо.

А мы ловим себя на надежде, что еще разыщется в немецких документальных россыпях стертый Левин след, как и след Георгия (Юры) Бауэра — ближайшего ему по сделанному выбору и по военной судьбе.

...Юра был старше большинства однокурсников на три-четыре года. Но в этот интервал уместилось многое: после семилетки курсы чертежников-конструкторов и работа по обретенной специальности; последние два года перед университетом — на Автоарматурном заводе, в прессовом цехе.

Сухощавый, рослый, с печатью доброжелательства на лице, одетый всегда более чем скромно, но неизменно подтянутый; мало сказать — вежливый, скорее даже учтивый, но не из приличия или желания понравиться, а по коренному свойству натуры. Учился серьезно, методично, научная книга рано стала спутником его жизни. На первой странице газеты "Московский университет" за 4 июня 1941 года — фото: государственный экзамен по всеобщей истории. За столом — С.Д. Сказкин и другие члены комиссии, перед ними "студент 5-го курса, сталинский стипендиат Бауэр, отлично сдавший экзамен".

Весь склад характера и способностей Юры (был он еще и художником) определил его главный интерес — к археологии. Участник новгородских экспедиций 1938 и 1939 годов, летом 1940-года он под руководством Артемия Владимировича Арциховского и вместе со студентом III курса Н. Овчинниковым осуществил самостоятельные раскопки курганов под Звенигородом. В бумагах, остав-

шихся после Юры, — старая подробная карта Звенигородского района, служившая ему подспорьем...

Несколько лет назад Тамара Равдина, работая в архиве Ленинградского института археологии (он был тогда головным), наткнулась на имя Г.Э. Бауэра. Речь шла о раскопанных им тогда 28 (!) курганах. В деле — самостоятельный, профессионально исполненный отчет Юры, переправленный по назначению Арциховским. И там же отзыв известного археолога П.Н. Третьякова, заключившего, что, "судя по отчету, чертежам и фотоснимкам, по тщательности раскопки и полноте фиксации", результаты Бауэра "могут служить образцом для археологических работ подобного рода".

Курсовая работа Юры была посвящена строительному мастерству в средневековом Новгороде. Сохранился отзыв на нее А.В. Арциховского — три убористые машинописные страницы. Так пишутся разборы диссертации: уважительно, скрупулезно, взвешивая доводы и приводя контраргументы. Поистине документ из истории отечественной археологии. Ограничимся начальными строками: "Исследование Георгия Эммануиловича Бауэра основано на огромной предварительной работе. Автором просмотрены многие тысячи страниц изданных письменных источников, использованы все археологические данные и привлечена разнообразная литература, список которой включает 303 названия, в том числе много иностранных".

Что к этому прибавить? То, что Юра не был баловнем судьбы, что жилось ему (он, мама и больной брат) трудно, но никто никогда не слышал от него ни единой жалобы. Добавим еще, что его рано умерший отец был обрусевшим немцем, а мать датчанкой, Юра же иностранными языками овладевал как все — на школьной и студенческой скамье, а в его духовном мире властвовали образы и рифмы, родившиеся в России рубежа XIX и XX столетий. И еще прибавим: за невозмутимостью и сухостью для стороннего взгляда — неистраченные запасы нежности и верности в дружбе...

"Так откровенно — что такое счастье? — Улыбка друга, больше ничего" — это не его, это из Муси Гинзбурга, но стихи посвящены Юре, рыцарю товарищества.

Таким был человек, который в тяжелейшие дни лета 1941 года прыгнул с парашютом во вражеский тыл. Что он думал накануне, чем жил — об этом в письмах жене.

...Еще один из первых — Лев Финкельштейн. На четвертый или пятый день войны, услышав о наборе "политбойцов", он пришел вместе с другом и однокашником Жорой Антоновым в узком комсомола. "Прошу зачислить" — заявление размером в строчку.

"Встретил Красную Пресню (то есть наших ополченцев). Говорил с Зорким, Гольденбергом<sup>4</sup> и др., но к ним не перешел. В конце концов нас послали "цементировать", и переходить я не счел себя вправе" — это в письме, помеченном 1-м октября 1941 года; больше известий не было.

Личность Левы тонко обрисована его университетским товарищем В. Библером. Своим заметкам он не дал названия. "Думая о Лева" — озаглавили их мы, а можно бы и так: "Философ о философе"... Это было новшеством на предвоенном истфаке: группа наших однокурсников заявила о своем желании специализироваться по истории философии. Зачинателем был рано умерший Павел Рагозин, двоюродный брат Левы. И сам Лева вначале собирался в ИФЛИ, на философский факультет, потом передумал. Живая плоть истории представлялась ему неотрывной от мысли — на том, собственно, сошлись все, кто составил сплоченную группу наших "философов".

Их порыв поддержал замечательный человек — Борис Аркадьевич Белый. То, что он был знатоком своего предмета, лектором, сумевшим внушить уважение к ищущей мысли и понимание того, что философия по природе своей больше спрашивает, чем отвечает, — это еще только частица того, что должно о нем сказать. Ибо он умел пробудить в тех, с кем общался, уважение к человеку, веру в его способность мыслить — не только словом, но и поступком, деянием.

Лева, его ученик, показал, что это значит, — показал, вовсе не собираясь показывать. Нет, он не страдал избытком скромности. Просто был органически чужд всякой риторике, как и тому, что его любимый Гейне

---

<sup>4</sup> Семен Гольденберг — в 1941 году студент 4-го курса истфака. Погиб в ополчении.

называл окольным мышлением (лишенным способности — и мужества — подтвердить себя собою: в самом обыкновенном человеческом смысле и в самом человечески трудном...). И разве недописанная страница Левиной жизни — не из жизни той, иной, некольной мысли? И разве не ею светятся его фронтовые письма?

...Они ушли первыми. За ними, вслед им — их сверстники и друзья.

## **Драбкин Я.С. МОИ ДАВНИЕ ДРУЗЬЯ**

Лева Сечан. Долговязый, слегка сутулящийся, легкий в движениях, подчас порывистый, частенько взвинченный, иногда несколько расслабленный. Его немного картавый голос звучит в моих ушах. Был Лева инициативен и остроумен, смотрел на окружающих с легкой усмешкой, немного покровительственно. Так относился и ко мне. Но умел быть искренним и чутким. Любил находиться в центре внимания, охотно изображал кого-нибудь: в жизни и на сцене. Много с ним было переговорено, особенно в странствиях по парку в Сокольниках, где он жил. Знал он все и всех. В моей стародавней записной книжке его рукой вписаны недостающие имена: советских послов, командующих военными округами, деятелей советских республик, глав разных советов и комитетов. А менялись они тогда часто. И в конце страницы: "Победитель первенства по футболу "Спартак", кап. Старости Ан." "Костя Забродин был богатырского сложения, с круглым простым лицом, сильный и добрый. Был он медлителен, немного тугодум. Но это только до тех пор, пока внутренние силы не приводили его в движение. В спорте был он упорен и настойчив. Идеальный товарищ в любом начинании, честный, абсолютно надежный. Жили мы вместе в общежитии на Стромынке, но встречались лишь в университете, Такими запомнились мне два моих товарища в далекие теперь времена. Январь 1940 года был страшно холодный. И мы трое, Миша Юрьев и Игорь Савков, почти не сговариваясь, "променяли" намеченную каникулярную лыжную прогулку ("где-нибудь подальше,

в цветах суровых и снежных") на добровольческий лыжный батальон московского комсомола, отправляющийся на финскую войну. Помню, что решение было принято с ходу на лестнице у входа в "новое здание" МГУ на Моховой. Никакой патетики: нужно и ладно. В непривычную военную муштру в Серпухове втянулись с немалым физическим напряжением. В холодном клубе, где нас разместили, мы дружно сипели и кашляли, стараясь сдерживаться, чтобы не попасть в "слабаки", которых оставят дома, не возьмут на фронт. Нас формировали и переформировывали, пока не сколотили в "отдельные легко-лыжные эскадроны". Впрочем, "легкие" только по названию: наше боевое снаряжение было (или только казалось нам?) непомерно тяжелым. Несколько километров, которые мы прошли до железнодорожной станции в полном снаряжении с винтовкой и лыжами на плечах или с пулеметной "волокушей" на шлее, показались пределом возможного...

В эшелоне и в снежных лесах Финляндии (на Петрозаводском направлении) мы были рядом, но врозь: Сечан и Забродин были пулеметчиками, а я — стрелком. Домой же вернулись вместе. Встреча была до смущения торжественной, сначала на Белорусской-товарной, а потом на истфаке...

Естественно, что 22 июня 1941 года мы оказались снова вместе. Нам было ясно, куда мы хотим. Вопрос был в том, как попасть скорее. Началось хождение по "инстанциям". Хотя мы, как и другие ребята нашего набора, почему-то не проходили (в отличие от старшекурсников) военной подготовки, мы числили в своем активе "финский опыт". Потому и рассчитывали попасть на фронт в числе первых. На второй или третий день войны добрались до МГК ВКП(б), где какая-то специальная комиссия набирала политруков.

Комбриг, оглядев нас, огорошил вопросами:

— А в рукопашном бою были? Врагов убивали? Песни запевать умеете? На баяне играть можете?

Потом объяснил: нужны сейчас срочно такие политруки, которые способны поднять людей в атаку...

Для такой роли подходил, быть может, только Костя, но не взяли и его. Да мы и не надеялись попасть на фронт все вместе.

Побывали мы вместе с другими истфаковцами и на сборном пункте народного ополчения во дворе школы на Пресне. Строились в нестройные ряды во главе с деканом Сергеем Даниловичем Сказкиным. Нам он казался тогда очень старым и не годным на фронт. А был он тогда много моложе, чем мы теперь, — ему было ровно 50! Но мы ни в ополчение, ни на оборонные работы не стремились: все-таки у нас был ведь "финский опыт".

Не помню, от кого мы прослышали о наборе в диверсионные группы для работы в немецком тылу. Это годилось, и мы записались в "диверсанты". Звучало, правда, немного странно, ибо до того так именовали только злейших врагов...

Но тут наши дороги разошлись. Друзей моих, Сечана и Забродина, мне больше встретить не довелось. О их гибели узнал лишь после войны. Знаю: это были товарищи, с которыми, как говорили в войну, в любой час пошел бы в разведку. Убежден: свой роковой час они встретили, как жили и воевали, — честно, стойко.

Яков Драбкин

## КОНСТАНТИН ЗАБРОДИН

**4 сентября 1941 г.**

*Лидка, милая!*<sup>5</sup> События сложились так, что я срочно был направлен в часть. Работаю замполитрука роты. Через несколько дней иду в бой: мстить фашистам за обещанных девушек Украины и Белоруссии. С нетерпением жду минуты, когда перед глазами появится ненавистная свастика. Пиши мне больше, ибо я жадно ловлю каждую строчку от своих.

Целую тебя крепко, крепко.

Костя

Жду писем.

13 сентября 1941 г.

---

<sup>5</sup> Письма адресованы Лидии Максаковой.

*Лидя, здравствуй.* Письма тебе не писал — ибо переменился мой адрес. Жду, когда адрес мой будет постоянным, тогда постараюсь написать все подробности. Привет Люсе и через тебя Оське. Ему я тоже пока не пишу.

Остаюсь твой друг и товарищ Костя

## ЛЕВ СЕЧАН

**Сходня, 4 июля 1941 г.**

Милая Оленька!<sup>6</sup>

Живу пока в прекрасных условиях, самочувствие хорошее, жаловаться не на что. Вот, собственно, все, милая, что я могу тебе о себе сообщить. Так что пока беспокоиться обо мне нет никакого основания и тем более нет основания плакать, что ты, наверное, часто проделываешь. Или академика (учеба. — *Ред.*) не оставляет времени для слез?

Как там у вас дела?

Интересно, нашелся ли Забродин? Как его дела? Передай привет всем у вас дома. Переписывайся с Олей.

Пока, всего, дорогая Оленька, через несколько дней напишу снова [...]

*Лева*

**Сходня, 7 июля 1941 г.**

*Родная моя Оленька!*

Пишу тебе второй раз. Наша малиновая жизнь сегодня, кажется, принимает новый оборот. До сих пор мы жили на шикарной даче, как господа, и без пива или вина не обедали. Сегодня к концу дня начинается новое — на самолете — в район. Кстати — никаких прыжков! Вот, Оленька! Так что теперь писать мне будет трудно. Возможно, напишу с линии фронта. А так — 2—3 недели от меня может не быть письма. Домой я таких подробностей не пишу, ты, Оля, их успокаивай.

А пока, миленькая, до свидания. Очень, очень обнимаю и целую тебя, Оленька!

Еще раз до свидания! Привет всем!

---

<sup>6</sup> Адресат — Ольга Кручинина.

Лева

Не вздумай беспокоиться обо мне!

**9 июля 1941 г.**

*Милая, милая, дорогая, дорогая, любимая моя девочка Оленька!*

Давно собираюсь написать тебе большое любовное письмо — не получается. Я очень люблю тебя, дорогая, очень жалею, что пока не могу получать от тебя писем. Вчера утром вылетели из Москвы и через три часа прилетели в Киев. В самолете спали. Жизнь чудесная, Оленок, и полная таинств.

Под Москвой жили на роскошной даче, в прекрасных условиях, питаемся и по сей день в основном шоколадом. Команда из 5 человек, ребята удачные (4) и командир — хороший, свой парень и специалист. Видел за это время массу людей, таких интересных, что просто ужас. Из Киева выедем неизвестно когда. Может быть, и сегодня. Милая Оленька, я очень люблю тебя, дорогую. Ты не смейся, Оля, серьезно, я очень много думаю о тебе. Жди меня, дорогая, я очень хочу к тебе. Возможно, после первого задания я добуду отпуск или уже после войны. Но я тебя просто разорву на куски! Без всяких страхов и условностей. Просто проглочу! У меня уже голова кружится!

Ведь я теперь типичный гусар — ни о каких чинах и дисциплинах речи нет, носятся с нами как с какими-то святыми — живу совсем как мечтал. Однако все это может вдруг прекратиться — хоп! Так что такая жизнь вполне простительна. Домой пишу всего 2—3 строчки, даже неудобно, но что я еще могу им писать?!

Итак, милая Люсенька, жди меня! Готовься! Жаль, что я не могу получать твоих писем — я ничего не знаю о твоих делах. Потом узнаю, важно, что ты моя!

Ну, прощай, родная, не знаю, когда снова напишу тебе.

*Лева*

P.S. Есть новость, Оленька! Сейчас выезжаем. Ночью прыгаем. До свидания! Целую сильно!

## ГЕОРГИЙ БАУЭР

**Не позднее 4 июля 1941 г.**

*Девочка моя, дорогая,*<sup>7</sup> если бы я был на раскопках, я бы каждый день приезжал в Москву на вечер все эти дни. Работы сейчас много, завтра, очевидно, будет еще больше. Хуже то, что завтра, очевидно, мы переменим место жительства на более отдаленный от Москвы пункт и будем заняты так, что нам, по всей видимости, придется на время прервать связь с Москвой и не переписываться. Не думай, ради бога, что это зависит от моего желания, конечно, если будет такая возможность, я обязательно напишу тебе хоть открытку.

Любимая моя, что ты делаешь? Это не вопрос, потому что тебе не надо мне писать по прошлому адресу, меня уже, очевидно, здесь не будет. Это просто попытка отгадать. Наверно, ты еще не начала работать у Склифосовского, копаешь землю? Мама, наверно, все еще думает, отправить ли Маринку из города или нет. Муська, наверно, еще не удосужился зайти к тебе, а Надька с Ильей наверняка звонили раза 3—4. Надюшка очень трогательно со мной прощалась, даже немного прослезилась. Мне кажется, что ты скучаешь гораздо больше, чем я, — ведь я очень занят. Почему так было, что в самый счастливый момент моей жизни я принужден обстоятельствами уезжать. Ты ведь не сердись на меня за это, я иначе не мог. Я тебя очень крепко целую, ты, наверно, стала бы меня ругать, если бы это было на самом деле. До свидания, дорогая моя детка.

*Мыша. Очень приятно так подписываться.*

**16 июля 1941 г.**

*Галюшенька, родная,* я бросил тебе письмо вчера ночью, не успев его дописать, все скомкав. Сейчас живу недалеко от Киева, сюда приехал позавчера. Очевидно, сегодня ночью уеду на фронт. Насколько можно себе представить, это последнее письмо, дальше вряд ли удастся что-нибудь отослать, я не уверен даже, что и это дойдет до тебя.

---

<sup>7</sup> Письма адресованы Галине Рашковской.

Здесь все сравнительно тихо и хорошо, только очень много военных на улицах Киева. Следы бомбардировок заметны с трудом лишь на окраинах города, центр весь совершенно цел. Город великолепен, я в нем никогда не был прежде.

Девочка моя, я сам не знаю, зачем я пишу всякую ерунду, мне просто хочется как следует с тобой попрощаться. Письмо это последнее на большой период, может быть, на месяц, может быть, и больше. Мне хотелось бы знать, что ты нисколько не осуждаешь меня за мой поспешный отъезд, что ты постарайся с возможно большим спокойствием повлиять на маму. Не старайся где-нибудь узнать обо мне, это бесполезно. Со мной вместе из историков едут Сечан и Борис Ляндоберг<sup>8</sup> Если Муська еще в Москве, свяжись через него с их семейством. Больше ничего не надо. Мне так хотелось получить от тебя письмо на Сходню, но письма не оказалось. Наверное, что-нибудь перепутали на почте.

Прощай, родная, и не огорчайся слишком от одной неизвестности — ведь это еще не самое плохое. А я уверен в том, что мы с тобой еще очень долго и хорошо будем жить, что все кончится хорошо, что я приеду совершенно невредимым. Не знаю, кой» все это будет, но это будет обязательно. Передай привет всем ребятам — я ведь никому, кроме тебя, ничего не писал. Не ругай меня за плохое письмо, я сейчас ничего не могу написать.

Мне только необходимо передать тебе, что я люблю тебя больше своей жизни, больше всех, больше матери, больше брата, и я прошу тебя подождать моего возвращения, сколько бы я ни отсутствовал.

*Крепко целую тебя. Юра*

**ЛЕВ ФИНКЕЛЬШТЕЙН**

**30 июня 1941 г.**

*Здравствуйте, дорогие!*<sup>9</sup>

Жив, здоров. Прибыл на место учебы. Место хорошее. Своих ребят много. Назначение наших формирований и срок учебы не совсем ясны. Очень беспокоюсь за

---

<sup>8</sup> Борис Ляндоберг — в 1941 г. студент третьего курса истфака. Погиб.

<sup>9</sup> Первые три письма, как и последние, адресованы родителям; четвертое письмо — однокурсникам, товарищам по философской группе.

маму. Когда я уезжал, мне показалось, что она себя неважно чувствует.

Первая ночь показала, что здесь не санаторий, но жить можно...

Пишите, что нового, не звонил ли кто, как ПВХО нашего дома, мой диплом, моя стипендия. Смотрите, чтобы все было хорошо, за вас я должен быть спокоен.

Все вышеизложенное Жора просит передать своим.

Лева

12 августа 1941 г.

Привет, дорогие! Вчера послал вам письмо. Сегодня вкратце повторю все — авось вы тех писем не получили.

Я был в боях, был ранен и думал, что эвакуируюсь в тыл, но рана оказалась пустыжкой и через несколько дней я отправляюсь на фронт снова.

Я нахожусь в г. Гжатске в 502 госпитале [...] Чувствую себя хорошо, читаю Ленина. На фронте оставил все вещи и Жорку; вещи мне выдадут новые, а что касается Жорки, то если от него будут известия, пишите, или, если можно будет, телеграфируйте адрес, т.к. я здесь пробуду недолго. Узнайте, пожалуйста, что с ребятами — Изей, Библерами, Родькой и т.д.

Ужасная тоска, что я о вас ничего не знаю — может быть, вас эвакуировали. Пишите, как живете, как здоровье, как родственники, получили ли вы мою посылку из лагеря, как работа, как диплом, получили ли вы фотографию нашего курса на факультете и группы у Родьки, если нет, то сделайте это. Пишите, как налеты противника на Москву. У нас дела ничего — армия крепнет с каждым днем, усиливается техника и крепнет организованность.

Недалек тот день, когда враг будет разбит. Пехота у немцев трусливая, совсем никуда не годится, самолеты и танки делают больше шума, чем дела, артиллерия — наша значительно сильнее. Сильны у них только минометы, неплохая организация.

Я говорил с пленными немцами — ранеными. Они обрадовались даже моему немецкому языку. Они очень жаловались на наших партизан, а один из них уверял, что он очень любит евреев, и кричал "комрад". В общем весьма неумно и растерянно. В плен попасть они никак не

ожидали. Судя по всему, немцам весьма тяжело, а осенью и зимой им будет еще хуже.

Ну, дорогие, всего. О посылке не беспокойтесь— мне все тут выдадут. Конвертов и бумаги пришлите.

Ну, живите счастливо! Напишите или дайте телеграмму сейчас же.

Ваш сын Лева

23 сентября 1941 г.

*Привет, дорогие!*

Я жив, здоров! Живу хорошо. Питания хватает. Спим в палатках. Благодаря маминому одеялу тепло. Ношу свитер. У нас идут занятия. Я попал в очень хорошую дивизию со славными боевыми традициями. Командиры здесь фронтовики, что очень хорошо, совсем не так, как в Можайске.

Если принимают посылки от частных лиц, то, кроме сладкого (сладкое надо), не надо сухарей — они намокают, лучше сушек, а если печенья, то только в пачках. Конечно, папиросы. Бутылку с чернилами для вечной ручки. В остальном я все говорил. Хорошо бы маленькую толстенькую книжку, но не про войну, лучше из классиков. Ленина "Государство и революция". Если еще что надумаю — напишу. Скоро напишу вам письмо. Пока всего хорошего, привет всем нашим и ребятам. Напишите, призваны ли ребята в армию. Есть ли что от Жоры и Изги. Всего хорошего, будьте счастливы.

Лева

26 сентября 1941 г.

*Привет, ребята!*

Все время собираюсь написать вам большой трактат, поэтому ничего не пишу. Сегодня собрался начать.

Сажу я дома. За рамой — ветер.

Чернеют стекла — провал холодный.

Пушки воют, как дядин сеттер,

Передо мной — романчик модный.

Прочел страничку. Бегут виденья.

Живут там люди — тепло и сытно.

На заседаниях мысли преют.

Любовь. Работа. И мне обидно.  
Пробило два. Но и тогда мне  
Лень встать, чтоб лечь, уснуть, забыться

.....

Кругом так голо — вода да камни.

От мины некуда укрыться...

Этот опус извиняется только местом написания.

Вернее, сочинения. Извинение сочинено тогда же.

Темная ночка. Танки грохочут.

Ходит дневальный — замерзнуть не хочет,

Ходит бедняга от березки до леса.

Не видать ни черта, ни зги, ни бельмеса.

Каждая елка подобна догу.

Забрел бедняга в чужую роту!

Согреешься разве с этой крупчатки?

Спасибо, греют хоть мамы перчатки!

Подобным рифмованием, конечно, легко отгоняется сон на посту. Простите, что долго не писал. Причины указаны выше. Я попал в очень хорошую боевую дивизию. Командиры — все фронтовики в лучшем смысле этого слова. Поэтому здесь не плохо, хотя холодно и мокро, Ну, да ведь воевать же надо.

Рота наша почти вся татарская, и я знаю уже несколько татарских слов. Еще повоюем — будем знать татарский язык.

Ребята, вы такие молодцы, что приехали ко мне в Можайск! Жаль, что не успели ни о чем толком поговорить.

Расставание, мне казалось, — дней на 10... Ну, да будем считать, что не прощались и разговор продолжается. Собственно, разговор прервался на словах Ванды, следовательно], ее слово...

Вообще, ребята, как я подумаю, что вы из-за меня две ночи не спали — то вы, честное слово, молодцы — так бы и расцеловал всех вас. От гражданки (мирной жизни) на это трудно решиться. Это я со злости насчет гражданки.

Сейчас буду слушать приехавший к нам Краснознаменный ансамбль. Интересно, что они здесь покажут.

Журналы ваши читаются всей передовой и прогрессивной частью человечества. С Гейне хуже. Впрочем, о

нем я вам уже писал. Надо бы резиновый переплет. Впрочем, книга еще цела, но, откровенно говоря, можете на нее рукой махнуть.

Вообще, настроение сугубо сопливое, что вызывается холодом. Иногда чищу зубы (единственный в батальоне). Усиленно пытаюсь использовать свое высшее образование, но пока мало что выходит, хотя комиссар утверждает, что "уйма работы". Работы действительно уйма.

Воевать зимой будет весьма паршиво, но немцам еще хуже будет, что радует. Вообще настроение — скорее на фронт. Там будет, во всяком случае, теплее.

Ребята, напишите мне, пожалуйста, как остальные истфаковцы, уехавшие на фронт, я ни о ком ничего не слышу.

Что касается войны, то в июле нас здесь бомбили, а сейчас немецких самолетов не видно. Видимо, их авиация терпит от нашей основательные поражения. Бойцы, пришедшие с фронта на отдых, подтверждают это.

Я здесь, как "фронтовик", являюсь чем-то вроде "ефрейтора", т.е. во время занятий больше учу, чем учусь. Многие ребята стали командирами (далее неразб.). Пока я ограничиваюсь читкой газет. Вообще, от безделья — тоска, а когда работаешь, то настроение замечательное.

Музыка ансамбля нагоняет на меня дикую тоску о Москве.

Ребята, не слышно ли чего о Жорке? Напишите!

Ну, пока, будем слушать и смотреть. Привет всем. Всего! Особо Мишке Ком[иссару]<sup>10</sup>, Родьке, Любке.

Напишите, кто секретарь бюро фак[ультета], надо же туда ч[то]-н[ибудь] написать.

Передайте моим, что жив-здоров.

Смогу — напишу с фронта. Всего хорошего! Будьте счастливы.

Лева

**28 сентября 1941 г.**

*Привет, дорогие!*

---

<sup>10</sup> Михаил Комиссар — однокурсник. Погиб на фронте в 1942 г.

Адрес у меня немного изменился, на обороте я написал вам новый.

Я жив, здоров, все в порядке. Встретил Краснопресненскую дивизию, где в одном из арtpолков весь наш курс (это — ополчение), видел проф. Зоркого — он здесь батальонный комиссар. Я хотел туда перейти, он бы мне помог, но потом я передумал. В артиллерию, к своим, я все равно не попаду, а работы мне здесь больше — меня теперь назначили замполитом и здесь много дела, там же много с высшим образованием. Может быть, я сделал глупо, но в таких случаях, как вы знаете, я всегда делаю глупости и это хорошо кончается. Передайте привет всем нашим ребятам. Библерам и Любе я написал и еще напишу, писал и М. Комиссару. Нет ли чего от Жорки? Пишите обо всем. На днях напишу еще открытку. В случае перерыва связи не беспокойтесь. Все в порядке. Всего хорошего. Будьте счастливы!

*Лева*

## **Библер В.С. ДУМАЯ О ЛЕВЕ**

Лева Финкельштейн. Высокий. Тонкий. Немного сутуловатый. Густые черные волосы, падающие на лоб. Гибкая и чуть развинченная походка. Ироничные и немного смущенные, какие-то сомневающиеся глаза. Мы вместе начинали "философствовать", иначе говоря, — усложнять то, что само собой разумеется, размышлять о том, что (казалось) размышления не требует. Этот Левин стиль духовных движений, думания, работы не очень-то вписывался в обычный стиль истфака, но он, этот стиль, точно и открыто выражал внутренние черты характера Льва Финкельштейна. Был ему впору. Когда я сейчас вспоминаю Леву, мне кажется, что главное в нем — некая напряженная неопределенность; готовность еще стать собой и устремленность к своей судьбе (судьбе без вмешательства войны), к своему, еще почти невидимому призванию, своему единственному делу.

Все линии и углы его лица, тела, мысли, характера были как-то разбросаны, не сходились в один контур, но

— внутренне — страстно тянулись друг к другу, к своему будущему. Так и не наступившему будущему. Надо было очень хорошо знать Левку, чтобы почувствовать эту магнетическую силу будущего Левы — Левы в будущем, очень значительного, творчески и жизненно неповторимого.

Это угадывалось во всем: в его шутках и остротах, в разговорах о Гейне (особенно Лева любил "Идеи. Книга песен" и "Путешествие на Гарц"), в самой манере думать вслух, прерывая свою мысль многоточием, молчанием, и вдруг продолжать ее в другом материале, на очень отдаленном витке интеллектуальной спирали... В любопытствующем, родственном внимании к друзьям, к близким, к любимой девушке. И все время — остро и напряженно: эта устремленность к себе, вслушивание в себя (в году где-то в 60-м...), все время странное соединение незавершенности и чувства уже состоявшегося (там, впереди...) свершения.

Думается, что это ощущается и в письмах Левы с фронта — в самой интонации и ритме этих писем, легко и точно воплощающих интонацию и ритм Левиной души.

Вот хотя бы стихи Левы в одном из писем. Два — через характерное молчание, уход в себя — соединенные и разорванные отрывки. Видение и слышание войны из окон московской квартиры... Но это видение воображается, видится из окопов Подмосковья, ночью, под грохот танков и снарядов. Два образа — реальный (окопный) и воображаемый (домашний, московский) тянутся друг к другу, вот-вот сомкнутся и возникнет цельный, необычный и только Левин образ. Образ особенной силы. Но этот образ лишь может быть, он — тоже — устремлен к свершению, к цельности.

Так — во всем. И в соединении предельной окопной тоски, и — легкой улыбки, и — твердой надежды, и — тут же, в той же строке — страстной жажды мыслить, перечитать Ленина "Государство и революция..." И — в отказе "перейти к своим ребятам", чтобы не уклоняться от "уймы работы", что ждет его в "своей" (также — уже своей...) роте. И — сразу, с неповторимой Левиной усмешкой: "Я, как всегда, делаю глупости, но получается к лучшему..." Так — в каждом письме, в каждой строке.

Мучительно страшно, что Лева не вернулся, не свершился, не воссоединил себя в 60-х, 70-х, 80-х годах. Или все же...

Владимир Библер

## ПАРТИЗАН ИВАН КОРА

Ваня Кора, Иван Прокофьевич, родился на хуторе Тацин, что в Ростовской области. Крестьянский сын, провинциальный школьник, избрав столичный университет, считал, что это обязывает его ко многому.

В «большой комнате Останкинского студгородка, где на первом курсе жил с десятком наших товарищей, разного характера и способностей, Ваня выделялся упорством и дотошностью, неукоснительным следованием режиму ежедневной работы (ни дня пропуска, ни одного отсроченного задания!). И так все пять лет. Не думайте, что он был педант. Тут навык — производное от характера и сам характер, не просто унаследованный от предков. В прошлом веке у русских разночинцев существовало высокое понятие — "выработанный человек", то есть человек, который сам себя вырабатывает. Именно это, по сути и замыслу, делал Ваня Кора, делал не покладая рук, но без натуги, без насилия над собой. Его нелегко представить мечтателем, склонным к сентиментальности. Тем поразительней звучит (из письма родным): "Хочется жить, чтобы каждый твой нерв чувствовал, что ты живешь"... Это написано за два месяца до начала войны.

Иван Кора шел общей ее дорогой, но никогда не позади. Из лучших — на строительстве оборонительных рубежей. А там хотя и не фронт, но были свои лишения и тревоги: 14, а порой и 16 часов с лопатой под палящим солнцем — изо дня в день, из недели в неделю (лишь спустя полтора месяца — первый отдых, банный день). В финале же тамошней жизни еще испытание: отход. Осенний отход под натиском рвавшегося к Москве врага. Из университетских на строительстве оставалась к тому времени лишь небольшая группа историков — выпускников 1941 года. Они выручили друг друга. Вместе отшагали многие десятки верст — к Кирову и Мосальску, Калуге и Малоярославцу, деля поровну хлеб и горечь поражения. Вместе вышли — без утрат. Вместе держали совет — как им быть дальше?

К решению остаться в Москве, вступив в ряды ее защитников, Ваня присоединился без лишних слов... Отдельный истребительный батальон Красной Пресни. Задача — изготовиться к борьбе с немецкими танками на улицах столицы. И снова Иван Кора — один из наиболее умелых и выносливых. Тут же, в батальоне, перешел в особую группу для действий в тылу врага. Так началась его новая партизанская жизнь, оборванная спустя восемь месяцев.

Первое, уже боевое испытание: 23 ноября 1941 года. Группа, руководимая лейтенантом Игорем Опариным, в которую входил Ваня (вместе с пресненскими рабочими, со студентами юридического, геологоразведочного и театрального институтов), направлялась к месту назначения — близ Клина. Неожиданное столкновение с фашистскими танками, встречный бой, в котором погиб командир, еще несколько человек из этой группы, другие были ранены... "И теперь, через много лет, как только слышу песню "У деревни Крюково погибает взвод", вспоминаю, как бились и гибли недалеко от Крюкова один за другим наши боевые друзья" — из переданного нам текста С.М. Семеновой, тогда просто Сони, "Солнышка Семеновой", студентки-геологини, медсестры военного времени.

От нее стали известны и некоторые подробности дальнейших будней Вани Кора и его новых товарищей. Их маршруты — район Наро-Фоминска, занятая фашистами Смоленщина, Орловщина, Дятьковский партизанский край. Их боевые дела — разведка, минирование дорог, бои с малыми группами фашистов. "Ваня Кора всегда действовал смело, решительно, был очень выдержанным и спокойным, как говорили о нем партизаны — основательным бойцом и человеком" (из письма С.Семеновой сестре Вани). "Был хороший разведчик, безотказный. Командир отряда И.С. Колонии гонял его из разведки в разведку" (из письма медсестры Т.Н. Кузнецовой).

Летом 1942 года немцы начали крупную операцию с целью уничтожить дятьковских партизан. Бои шли тяжелые, большими были и потери. Тогда погиб Иван Кора — не вернулся из разведки.

Память о нем — братская могила в Брянских лесах. И запомнившиеся Соне Семеновой его слова: "...Самые невероятные человеческие истории можно найти в архивах..."

Из семейного архива Зинаиды Прокофьевны Кора-Марученковой — несколько Ваниных писем родным, в том числе одно предвоенное.

Оно не "невероятное", но поистине замечательное.

## **Материалы, присланные З.П. Кора-Марученковой группе «Поиск»<sup>11</sup>.**

Дорогие товарищи, здравствуйте!

Мой брат Иван Прокофьевич Кора, 1917 года рождения, уроженец хутора Тацин, Зверевского района, что в Ростовской области, за несколько дней до начала Великой Отечественной окончил исторический факультет МГУ и добровольцем ушел на фронт, стал защитником Родины, партизаном-разведчиком. Долгие годы, почти сорок лет, мне ничего не *было* известно о месте его гибели. Но в 1962 году откликнулся на мой Призыв москвич Соболев Лев Соломонович /проживающий по адресу: 125315, Москва, малый Коптевский проезд, дом № 6, корпус I, кв. 39/. Оказывается, Л.С. Соболев в 1941-1942 годах был комсоргом партизанской группы, в которую входил и мой брат Ваня Кора. Из сообщения Соболева я узнала, что брат Ваня участвовал в боях с октября 1941 года. Это была комсомольская группа из добровольцев Московского партизанского полка, сначала действовавшего в Подмосковье, а затем в Смоленской и Брянской областях.

Тов. Соболев в письме сообщает: «... Я был комсоргом партизанской группы, в которую входил И.П. Кора. Свидетельство тому - листок из моей записной книжки 1941-1943 годов со списком группы, который хранится сейчас в школьном музее школы № 183 г. Москвы. Этот музей в основном посвящен деятельности комсомольской /организации / партизанской группы

---

<sup>11</sup> Материалы были приложены к письму, написанному 27 мая 1983 г. и присланному на исторический ф-т МГУ им. М.В. Ломоносова, в группу «Поиск».

Так вот получалось, по прошествии сорока лет благодаря усилиям моего мужа и меня стала проясняться судьба моего Вани Кора.

Москвич Л.С. Соболев сообщил далее: «... В конце апреля 1942 года большая группа партизан Московского, полка, куда входила и наша комсомольская группа, была направлена в партизанский край, точнее в район г. Дятьково. Мы пришли туда в то время, когда фашисты, решив покончить с этим партизанским районом, предприняли широкое наступление на партизанский край. Не проходило дня, чтобы мы не сражались с фашистами. Сложилось и сложное положение с продовольствием. В середине июля москвичи И. Кора и М. Яблонский с группой партизан были направлены в район, занятый фашистами за продовольствием. Но рейд был неудачным, и, нарвавшись на засаду, группа вернулась ни с чем, потеряв зря при этом несколько человек убитыми, среди которых были И. Кора и М. Яблонский...» Место захоронения боевых партизан и место, где все это произошло товарищу Соболеву неизвестно.

Дорогие товарищи, друзья из группы «Поиск» исторического факультета МГУ. На зов моего сердца в апреле этого года откликнулась москвичка Софья Михайловна Семенова /117437, Москва, Ленинский проспект, дом 745/. Она была однополчанкой Вани Кора, хорошо его помнит. В письме она сообщает: «...В тяжелые дни для нашей Родины, когда враг пытался наступать на Москву, 16 октября происходило формирование Коммунистического Краснопресненского батальона, куда вошли рабочие, служащие, студенты организаций Красной Пресни. Формирование шло исключительно по добровольному принципу. Там я познакомилась с Ваней Кора, который вместе с группой студентов и преподавателей из МГУ пришел в 89 школу, на Тестовский поселок. Из состава батальона был сформирован партизанский отряд добровольцев при райотделе УМВД г. Москвы в количестве 23 человек и в этот отряд был включен Кора...» Вот оно как, оказывается, живут а Москве люди, которые помнят преподавателей и студентов МГУ, ушедших на войну и погибших в боях. Москвичка Софья Михайловна Семенова пролила еще свет надежды о судьбе моего брата.

Я знаю, в актовом зале исторического факультета МГУ имя Ивана Прокофьевича Кору выбито на мемориальной доске. Это и есть ему памятник, как и другим питомцам и преподавателям, погибшим в Всякой Отечественной войне. Спасибо людям за то, что хранят память о павших в боях за честь и свободу нашей социалистической Родины. Быть может, при факультете МГУ есть своего рода музей, для него я посылаю в копиях письма, другие документы и фотокарточку брата. Письма просты, в них вся правда, то, чем жил брат, о чем мечтал, каким хотел быть. Дорогие друзья, помните своих старших товарищей, берите с них пример. В час суровых испытаний для Родины они грудью своею заслонили от врага родную русскую землю.

Напишите мне.

Зинаида Прокофьевна Марученкова.

## Письма И.П. Кору

**30 апреля 1941 года.**

Здравствуйте, дорогие папа, мама, сестра Зина!<sup>12</sup>

Время подобно скорому поезду несет нас по рельсам жизни.

Новая весна уже в разгаре. Завтра 1-е мая. Каким счастливым себя чувствуешь в эти дни. Юность тела и мозга под действием юности времени года превращает тебя в скопление энергии, бодрости в веселья. Хочется жить нараспашку. Так жить, чтобы каждый твой нерв чувствовал, что ты живешь. Ах как хорошо жить! Перед тобой еще добрая половина жизни, вся ее творческая и созидательная

---

<sup>12</sup> Письмо это было отправлено 30 апреля 1941 года. Кора Иван Прокофьевич закончил курс учебы в МГУ. Началась Великая Отечественная война, он был зачислен бойцом в особый, отряд специального назначения, отправлен для выполнения специального задания в тыл врага, где и погиб в бою в июле 1942 года на Брянской земле, в Дятьковском, районе. Письмо хранится у сестры И.П. Кора – Зинаиды Прокофьевны Марученковой, проживающей в г. Пятигорске, ул. Московская, дом № 6, кв. 2. (примеч. Марученковых).

часть. Твори, создавай, делай все, что способен делать. Все к твоим услугам. Тебя поддержат, тебе помогут. Таково мое настроение в данную минуту. Не упрекайте меня в легкомыслии. Я говорю вполне осознанно. Перед вами я изливаю все чувства своей души. Как видите, они здоровы и хороши. Но к этим чувствам счастья и радости примешалось, как табак к муке, чувство тревоги и оно омрачает мою душу. Оно не покидает меня во время сна и бодрствования. Оно с силой самого мощного магнита тащит меня домой. Я вас всех люблю. Дороже вас для меня никого нет и не будет. И вот сознание, что дорогие мне мама и сестра больны, делает меня угрюмым. Как бы я хотел помочь вам! Чтобы вернуть вам здоровье, я на все готов! Лишь, когда вы будете счастливы, буду вполне счастлив я. Не будем жалеть время и средств для достижения нашего общего счастья. Я постараюсь как можно раньше приехать к вам. Привезу все, что вы просили и дальше больше. Денег у меня вполне достаточно. И, право, я на вас в малой обиде за то, что вы прислали 50 рублей. Я хотел их совсем не получать, чтобы их возвратили вам обратно. Потом раздумал. Но это раз я принимаю от вас деньги. Они вам самим нужны. У меня же их достаточно. Вот за посылку я премного благодарен. Пишите о своей жизни, о здоровье мамы и Зины (папа, я надеюсь, как всегда здоров), о папиной работе. На меня не обижайтесь, что редко писал. Был занят. Теперь мне осталось пожелать вам всего хорошего, весело провести Первомайский праздник. Что же, от сердца желаю и крепко целую. Ваня.

30 апреля 1941 года.

P.S. Зина, не сердись. Берет срочно высылаю. Конечно, я опоздал. Но ты меня простишь. Верно?

**19 октября 1941 года**

Здравствуйте, дорогие папа и мама!

Я получил от вас несколько открыток и писем. Получил также письмо от Зины из Ростова. Получил Вашу посылку. За все это премного благодарю Вас.» Я тронут вашей заботой обо мне. Деньги, которые Вы послали, я не получил /300 рублей/. Не беспокойтесь, они не пропадут. В крайнем случае, вы получите по квитанции деньги обратно.

Вообще Вы напрасно посылали мне деньги. Я ведь получаю зарплату, у меня сейчас есть более 200 рублей. К тому же здесь почти нечего купить. Кормят нас на кухне хорошо. Если я попаду в Москву, то получу стипендию за лето /рублей 700/. Когда мы попадем в Москву, точно не известно, говорят, что выедем в 20-х числах сентября. Погода стоит осенняя, идет дождь, прохладно. Сегодня мы второй день не работаем. За меня не беспокойтесь, я одет тепло, у меня два пальто, теплое одеяло, 2 пары ботинок. Живем в теплой и чистой избе. Пока все. Желаю Вам всего хорошего. Крепко целую. Пишите по адресу, что на открытке. Ваш Ваня.

19 октября 1941 года.

Адрес: Москва, Большой Кисельный переулок, дом 16/13, 1-й госстрой трест НКВД, 8-е стройуправление, 3-й район, 3-й участок МГУ. Кора Иван Прокофьевич.

**Письмо послано 14 мая 1942 года.**

*Здравствуйте, дорогие папа, мама и сестра Зина!*

Извините меня за то, что несколько задержался с письмом. Но я посылаю вам перед праздником телеграмму и Вы ее, наверно, получили.

Я жив и здоров. Живу неплохо. Все еще нахожусь в Москве. Когда поедем на задание, неизвестно. Теперь уже установилась весна и работать будет гораздо лучше, чем зимой [...] Сообщаю коротенько о том, что произошло с момента отправки моего письма. Во-первых, в школу НКВД никого из нашего полка не взяли, так что это дело уже прогорело.

Наш полк теперь считается на положении действующей армии, хотя характер его действия остается старым. Зарплату, которую нам раньше платили по месту работы, теперь не платят, но я сейчас получаю как командир отделения — 100 рублей в месяц. Недавно мне присвоили звание сержанта. Кроме того, я руковожу политическими занятиями в нашем взводе. Так что работы хватает.

Недели две назад я участвовал (один из нашей роты) в полковом, а затем в соревновании Москвы и Московской области по стрельбе из пулемета и винтовки и в

марше на 15 км. Наша команда заняла третье место в Москве и МО. Я лично занял первое место в полку по стрельбе из пистолета. Из винтовки я сделал два попадания из трех патронов, так что я не подвел начальство и себя и оказался неплохим стрелком. Дорогие папа, мама и Зина! Интересно, как вы встретили Первое мая? Я встретил праздник, можно сказать, неплохо. У нас давали хороший завтрак: кашу, студень, 2 яйца, хлеб и чай. В обед давали по пирожку. В общем, некоторое разнообразие было. Нам обещали дать первомайские подарки, но мы все еще их ждем. Вечером 1, 2 и 3 мая ходили в кино и на концерты. В общем, было неплохо. Вот жаль только, что вас не было близко. Москвичи часто ездят домой к своим — отцу, матери, сестрам, братьям. А мне — некуда и не к кому ехать. Вы не можете себе представить, как хочется вас видеть. Недавно я получил ваши три письма, которые вы послали в один день. Как я был рад! Особенно меня растрогало письмо мамы. Большое спасибо Вам, мама, за письмо. Пишите, мама, мне чаще, хоть коротенькие письма.

Из ваших писем я узнал, что вы живете сравнительно сносно. Это меня очень обрадовало. Сейчас наступает весна.

Если можно, обзаведитесь огородом, ибо за деньги сейчас ничего не купишь даже у вас, не говоря о Москве (здесь литр молока стоит 60 рублей). В общем, желаю вам всего хорошего, хорошего здоровья. Крепко, крепко целую вас, мои дорогие и любимые. Пишите чаще. Ваш Ваня. 8 мая 1942 года.

P.S. Вчера нам привезли подарки. И мне тоже вручили: бритву, кiset, бумаги. Подарок, конечно, дорог тем, что в нем есть, и тем, что о нас, бойцах, заботится вся страна, весь народ. Подарки давали всем бойцам. Мама и папа, сфотографируйтесь и пришлите свою карточку, я хоть на карточке на вас посмотрю.

май 1942 года.

**28 мая 1942 года**

*Здравствуй, дорогая сестра Зина!* Прежде всего извини меня, сестричка, за то, что долго не писал. Я был очень занят.

Но это, конечно, не оправдание.

Откровенно говоря, мне просто не о чем было писать. Каждый день у нас было одно и то же: занятия да занятия.

Вот теперь другое дело. Зина, я пишу откровенно, пишу то, о чем я не пишу в посланном родителям письме. Ты просила меня, чтобы я тебе писал все, ничего не скрывая. Так вот, то, что я скажу, будешь знать только ты. Отцу и матери об этом не говори, не стоит их беспокоить. Я им написал, что мы скоро выезжаем в лагерь. Да, действительно, мы собирались в лагерь. Но вот пришел новый приказ и мы совсем скоро отправимся на задание. Об этом я не писал папе и маме. Не говори им и ты. Не стоит их зря беспокоить. Вообще я еду на задание, как ездил и раньше. Пробуду там, возможно, более долго, чем прежде. Все кончится, конечно, благополучно. Так что беспокоиться, Зина, абсолютно нечего.

Дорогая сестричка, будь спокойна и успокаивай родителей, помогай им. Чувствую я себя отлично. На дворе сейчас прекрасная погода, что благоприятствует нам. Итак, Зинок, тысячу раз целую тебя и желаю всего хорошего. Пиши чаще. Я буду писать при первой возможности.

*Твой брат Ваня 28 мая 1942 года*

ИЗВЕЩЕНИЕ И ПИСЬМО  
О ГИБЕЛИ И.П. КОРЫ

Копия:  
Зверевский районный военный комиссариат  
Пос. Лихая, Ростовской области  
№ 01601  
24 июня 1945.

**ИЗВЕЩЕНИЕ**

Ваш сын, сержант, 1917 года рождения, КОРА Иван Прокофьевич, уроженец Ростовского области, Зверевского района, хутор Тацин, в бою за социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, погиб, в июле 1942 года.

Похоронен с отдаванием воинских почестей.

Место похорон...

Настоящее извещение является, документом для возбуждения ходатайства о пенсии /приказ НКО СССР -220/

Зверевский райвоенком –(подпись)

Начальник 3-й части –(подпись)

Дорогой тов[арищ] Кора Прокофий Еремеевич!<sup>13</sup>

Получил от Вас письмо, на которое отвечаю. Ваш сын Иван Прокофьевич Кора летом 1942 года, выполняя задание командования в партизанском крае, в Орловской области, при выполнении боевого задания, совместно с партизанской группой Ваш сын попал на немецкую засаду и был убит немецким гадом из пулемета. За смерть вашего сына его боевые товарищи жестоко отомстили врагу. Я знаю, что читать эти строки вам будет очень тяжело. Тяжело было и нам терять таких замечательных товарищей, как ваш сын. О нем у нас остались самые наилучшие воспоминания, как о бесстрашном товарище-бойце, как о замечательном разведчике, который мужественно, переносил все лишения партизанской жизни и который был полон беспредельной ненависти к фашистскому зверю. Вы извините, меня за то, что я Вам сообщаю такую весть, но иначе, я не могу сделать. Примите самые наилучшие пожелания. С искренним приветом Серчугов.

28 февраля 1945 года.

---

<sup>13</sup> Ниже приводимое письмо было адресовано мужу Зинаиды Прокофьевны Кору-Марученковой, Ивану Михайловичу Марученкову, бывшему во время войны начальником 3-й части Зверевского райвоенкомата Ростовской области. При передаче письма в Комнату боевой и трудовой славы Марученковы сопроводили его следующим комментарием: «Это единственное, то горькое письмо, которое поведало о гибели в бою Ивана Прокофьевича Кору. Под письмом стоит подпись "Серчугов" Кто он? Откуда? Какую занимал должность и в какой части? Этих данных в письме нет. Прошло почти сорок лет, пока удалось узнать о Серчугове. А Серчугов Иван Васильевич в года войны являлся старшим инструктором штаба истребительных батальонов УНКВД по городу Москве и Московской области, проживал в Москве ... Когда это стало известно сестре Ивана Прокофьевича –Зинаиде Прокофьевне Марученковой, а это случилось в мае 1977 года, Серчугова Ивана Васильевича уже не было в живых. Он умер 30 октября 1973 года». Копия солдатского письма, треугольник, на нем штамп: "Просмотрено военной цензурой", письмо написано простым карандашом (В.Б.).

## ЧЕТВЕРО ИЗ ОПОЛЧЕНИЯ

Что позволяет объединить письма четырех далеко не одинаковых людей? Прежде всего — общая участь. И еще — то, что за скобку выносит не ретроспективный взгляд выживших и помнящих, а они сами: их перекрещивающиеся упоминания друг друга. Все вместе эти письма — диалог даже там, где нет никаких формальных примет его.

Их было больше — погибших в скоротечном бою на дальних подступах к Москве. Не сохранилось свидетельств последних дней жизни Александра Демидова и Владимира Зотова. Поэтому здесь лишь четверо: Моисей Гинзбург, Александр Осповат, Яков Пинус, Игорь Савков. Четверо комсомольцев-однокурсников, которые вместе с другими добровольцами-историками в июле 1941 года были зачислены в артиллерийский полк 8-й Краснопресненской дивизии народного ополчения. Полк этот стал для них общим домом, вторым таким, ибо первым был истфак. Второй как бы достроил первый, прибавив не только еще месяцы совместной жизни, но внеся перемены в нее, существенные своим внутренним смыслом.

Ничто, как известно, так не обнажает слабости человека и пробелы в воспитании, как повседневный жизненный обиход. Даже обыкновенный туристский поход нередко разрушает, казалось бы, незыблемые связи. Что же говорить о быте рядового войны, непривычном и достаточно жестком. А люди, представленные публикуемыми ниже письмами, физических тягостей в мирное время, как правило, не испытывали. Скажем сразу: с бытом они справлялись не без труда, но и без душевных страданий, — юмор и тут выручал. Но всем и каждому в отдельности предстояло еще одно, более сложное испытание — проверка на отношение к людям иного склада. До войны в нашем лексиконе не было слова "элита"; чрезмерно деловые качества и тем паче карьерные поползновения встречали нескрываемую, а иногда и гипертрофированную антипатию. Однако существовали отличия другого, более тонкого свойства.

Одаренные школьники, переходя в университет, чувствовали себя "на коне" — даже в том случае, если до того не были баловнями судьбы (трое из названных выше испытали либо неустройства семейной жизни, либо удары по ней извне). Но не парадокс, а черта времени вместе с законом возраста: их тянуло к успеху. А успехи на умственном поприще, весьма заметные и заслуженные, рождали уверенность в призвании и естественное тяготение к себе подобным, очерчивая некий круг не то чтобы избранных, специально и напоказ обособленных, но и не без примет этого. Так было или только мнилось тем, кто находился вне этого круга и кому пребывающие в нем, по крайней мере некоторые, казались зазнайками или снобами?

Но вот оборвалась прежняя жизнь, а новая предъявила и новый счет. На войне им предстояло либо "скиснуть" — стать хуже — себялюбивей, самосохранней, либо распрямиться, чему нет точного, единого для всех названия. Без малейшего сомнения: они стали лучше и оттого — в последнем счете — самими собой.

Вот отклик на пережитое тогда нашего товарища, который был на десяток лет старше большинства, притом слова эти им сказаны не далеким задним числом; они из письма, помеченного началом 1942 года, когда он, переживший катастрофу, после плена и бегства из него, после мужественного прорыва к своим впервые написал о себе своей однокурснице, с которой был вполне откровенен. "Вспоминая о том составе (дивизиона, где служили истфаковцы, а "ведущим ядром был наш курс"), я все более и более убеждаюсь, что он был идеальным". И дальше: "Не могу не написать о них. Саша Осповат стал неузнаваемым. Во время учебы я к нему относился довольно холодно (деликатное выражение). Здесь же наоборот. Все трудности походной жизни он переносил прекрасно. Стремился закалять себя. Он был своего рода нигилист, так, например, удивлялся, почему наших посылают сейчас на работу (в школы и т.д.), тогда как их можно использовать на фронте или для фронта. Мы ему так и не смогли доказать, что нельзя допустить, чтобы росло неграмотное поколение (я это испытал на себе, учась во

время гражданской войны). Наводчик он был боевой. Работал очень быстро".

Тем, кто ближе знал Александра Осповата в школьные и университетские годы, есть что сказать в отклонение слов — "стал неузнаваемым" или, скорее, в уточнение их. Ибо речь идет не о преходящих частностях, а о разных путях самоопределения человека, превозмогании явных и скрытых преград на пути к нему.

Для Саши Осповата понятие само было непререкаемо важным (чему свидетельство приводимое ниже его предвоенное, хрестоматийное письмо брату). Это само означало четкость цели, контроль над собой, постоянный умственный труд и необходимое ограничение, уважение к знающим, но не до утраты своей независимости в суждениях, а напротив, во имя ее. Трезвость? Да. Но не за счет духа.

Такие, как он, само собой, не Обломовы. Но и не Штольцы. Уже не Рахметовы, но еще не... Открытый вопрос. Быть ли позитиву столь же определенным, как это отрицание, производимое к тому же задним числом?

Одно несомненно. Гибель их лишила нашу жизнь не только талантливых одиночек, но целой генерации, в недрах которой копилось, зрело еще неведомое им самим сопротивление давящей одинаковости идеала. Война — не во имя этого сопротивления, но она и это. Не потому ли столь редка в письмах наших друзей патетика патриотизма, а он сам, скорее, укором себе, для которого заведомо нет основания?

"А мальчик уже считал себя почти героем, — это Муся Гинзбург в собственный адрес. — Утешаюсь, что когда-нибудь все-таки буду на фронте, но пока неприятно — сидит в тылу [так именуется он ополчение!] здоровый парень, а уже где-то идут бои, умирают люди, может быть, и мой Юрка [Бауэр] уже там". "Родная моя, не сердись, что я нервничаю, но ты поймешь меня, что станешь фаталистом, если просидишь без всякого дела [...] в то время как моя любимая ждет меня за тридевять земель, в то время как в 70 км от тебя льется кровь. На людях я не нервничаю, я официально-спокоен. И не сижу сложа руки" (Игорь Савков — жене; последние слова подчеркнул сам).

Да что отдельные строчки, выдержки, отрывки. Читайте все подряд. Непохожесть манер и чувствований не только сблизит их, но и оттенит родовые черты. Кто менее схож был, чем Муся и Игорь, — и в письмах, и в жизни? Первый весь как бы нараспашку. Всегда немножко голодный, всегда безнадежно влюбленный, всегда готовый читать свои и "чужие" любимые стихи — ну чем не классический тип поэта, может не всякий раз оригинального рифмами, но выговаривающего ими самого себя, свою "жизнь без проповедей", как сказал некогда И. Эренбург о Франсуа Вийоне — родоначальнике всех неунывающих, несмотря на непроходящую грусть. Муся раньше других однокурсников и однокурсниц одинаковой с ним судьбы ощутил жестокость и вероломство, отнявшие у него отца и старшего брата. Однако он не ответил на жестокость ожесточением, на вероломство — притворством и затаенной ненавистью. Детство и семья, сверстники и Слово заложили в его душу такой запас доброты и веры, жажды дружеского общения и любви, каких хватило бы надолго...

Навсегда? Не знаем. Не в силах угадать. Любой ответ отдалил бы его — такого, каким он ушел: еще не определившись и не спеша определиться раз навсегда, ушел стойким и беззаботным, снисходительным к друзьям и упорным в своих высших привязанностях и принципах. А перед глазами — чудом сохранившаяся тетрадка его повзрослевших стихов (1939—1940) и письма из ополчения, какие назвать стихами в прозе будет вовсе не натяжкой.

Другой человек — Игорь. Не только не нараспашку, а, скорее, наоборот: тщательно следящий за тем, чтобы не быть таким, и особенно — таким не выглядеть. "На истфаке я лично не общался с Игорем, но, как студент младшего курса, хорошо запомнил его: скромного, корректного. Помню даже его прическу и его костюм," — пишет спустя много лет Герман Бауман, сам прошедший дорогой ополченцев, человек удивительной судьбы (плен, активное участие в голландском антинацистском подполье). Герман скорбит по поводу утраты старшего товарища и жалеет, что не удалось узнать его ближе. А мы приводим эти слова, характерные "внешней" достоверно-

стью, чтобы оттенить ею иную — достоверность мира, скрытого внутри. Скрытого от других или также и от себя? "Прическа и костюм", ничего не скажешь, выделяли Игоря, хотя далеко и не на современный лад. Что-то в этом было от благополучия, а что-то — от почти бессознательной потребности защититься от постороннего интереса и совсем не простой домашней жизни. Но и жизнь вне отчего дома, истфаковская "домашняя" жизнь сложилась не сразу и не так просто, как могло бы казаться стороннему взгляду.

С юных лет Игорь привык быть первым — и в занятиях, и в товариществе. Способности укрепил настойчивостью: мать приучила его, еще подростком, "работать по часам" (из рассказа сверстницы, ставшей в канун войны его женой). Учителя наперебой сулили ему блестящее будущее — каждый по своей специальности. Он проверил себя: поступил на математический факультет, однако вскоре ушел оттуда в историки. Время подтвердило, что это — его стихия. Но путь в науку не лежал отдельно от пути товарищей, и на этом пути ему также предстояло стать равным — и остаться таковым (неодинаковым, но равным...). С годами ушли и немного показная корректность и снисходительность в обращении с иными. Он не превратился от этого в рубаху-парня, но теплел и учился ценить другие взгляды, другой ум, другой склад человеческого характера. В рост с душевным созреванием раскрывался и как человек — исследователь со все более широким полем зрения: не только археолог, но и знаток письменной истории средневековой Руси, любимый ученик Артемия Владимировича Арциховского и Сергея Владимировича Бахрушина.

Что же поставить на первое место в его жизненном итоге? Незаурядное исследование (дипломную работу 1941 года), в которой он посмотрел на опричнину с не модной для того времени стороны, показав точным документированным анализом разрушительные последствия ее для защиты Московского государства от крымских набегов, или выделим то, что, скрывая болезнь, с "белым билетом" в кармане, ни минуты не задумавшись, ушел на фронт? Или на первое место в этом скоротечном итоге

справедливей всего поставить любовь и страстную мечту о ребенке ("роди мне Наташку!")?

...Да, они были как будто совсем непохожи — Игорь и Муся, Саша и Ян, члены одной семьи. Кого потеряли в них мы — и все? Ученых? Поэта? Нежных и умных отцов? Мужчин, способных пронести дружбу через всю жизнь? Людей, людей, людей!

Трое погибли почти одновременно, в октябре 41-го<sup>14</sup>, после двухдневного жестокого боя близ Ельни, во время отхода ополченцев, брошенных в самую горловину немецкого танкового прорыва. Четвертый, Ян Пинус, вырвался из кольца, вернулся в строй, воевал до августа 1944-го, участвовал в освобождении Польши; в деревне Долбня Радомского воеводства его имя на братской могиле. Он писал всем однокурсникам, чей адрес имел, — писал, пытаясь выяснить участь каждого, касалось ли это обстоятельств гибели либо подробностей; жизни, которая продолжалась и на фронте, и в тылу. Он был простосердечен и взыскателен; от письма к письму становился своего рода летописцем курса, и все свойства его взвешенного, аналитического, ответственного ума имели теперь точкой приложения сверстников, входящих в историю. Автор отличной работы о герценовских "Голосах из России", вспоминал ли он в своих фронтовых занятиях слова Искандера, предпосланные третьей книжке этого издания: "Мы очень малы, но нас трудно застраховать категорией количества и величины [...] Вселенная состоит из точек, из клеточек, а не из глыб, не из пустых пространств"?!

Нам, выжившим и живущим, он — своей настойчивостью, своей требовательностью помнить павших, измеряя всякий текущий поступок их судьбой, — сберег их (и себя): живыми.

---

<sup>14</sup> В отношении Игоря Савкова дата неверна. Об этом — заключительный текст книги (с. 147). Надеюсь, читатель не посетует, что некоторые здесь бегло отмеченные черты характера Игоря и обстоятельства его жизни там изложены с подробностью, не исключаяющей некоторого повторения.

## МОИСЕЙ ГИНЗБУРГ

10 июля 1941 г.

*Дорогая Мимиша!*<sup>15</sup> Очень трудно писать в полной темноте. Я даже строчек не вижу, но теперь 2 часа и мне еще около 2, 5 часов дневалить и это единственное время, когда я один. Лучше уж написать теперь, чем под неумолкающий звон Осповата и вконец осипшего Юрьева. Ты извини за неразборчивость почерка, я и сам ничего не вижу.

4-й день живем в казарме. Пока это больше походит на забаву. Со мною всегда так — вообразу бог знает что, а потом как под холодный душ. Фронта, кажется, мне в скором времени и не понюхать. В основном мы учим уставы и отдыхаем, а также по 5 раз в день моемся холодной водой с головы до пят — это занятие называется санобработкой (это слово, наверное, не получилось — оторвал перо от бумаги). А мальчик уже считал себя почти героем. Утешаюсь, что когда-нибудь все-таки буду на фронте, но пока неприятно — сидит в тылу здоровый парень, а где-то идут бои, умирают люди, и мой Юрка уже там.

Война многих поставила на свое место, показала нутро каждого из нас. Вот 5 лет считал П [...] В [...] хорошим человеком, а оказалось, что за душой у него ничего, кроме заботы о себе. Тяжело, когда даже не очень близкий человек оказывается трусом, тяжело и противно. И если член партии делает все возможное и невозможное, чтобы отбояриться даже от такого, совсем не опасного, дела, как ополчение, иногда очень хочется попросту набить такой сволочи морду.

Ужасно тянется время, и письма идут не быстрее, чем ваша баржа. 8 дней, как ты уехала, и ни ответа, ни привета. Я склонен отнести отсутствие писем за счет почтового ведомства, не знаю, прав ли? Трудно писать, не

---

<sup>15</sup> Первое письмо адресовано Марии (Мимише) Зельдес, остальные — Галине Рашковской, за исключением четвертого письма, адресат которого, вероятно, групповой — московские друзья, в их числе Илья Миллер и Надежда Ратнер.

видя, что уже написано выше, — лирики не получается — смотришь лишь, чтобы не захватить строчкой на строчку. Одна надежда — до 4-х часов рассветет. Жалко, писал, писал, а выйдет сухо и скучно, какие-то обрывки мыслей.

Такое письмо прочтут и выбросят, и забудут через 5 минут, серенькое письмо, ни о чем не говорящее. А письма надо писать одним дыханием и волноваться за каждое слово, сказанное не так, видеть сразу твое лицо, знать, как ты читаешь, как относишься к каждой мелочи. Письма надо писать, как стихи, как дневник, писать для себя, ничего не скрывая — ни злобы, ни боли, ни любви. А в темноте это трудно, и, если выходит так, не обижайся.

Я все жду твоего письма. Мне не часто писали девушки, и меня всегда злило, как они писали. Но ты должна говорить по-другому, по-мужски. Не знаю, но чем-то ты напоминаешь Бобу<sup>16</sup>: то ли тем, что очень многие вещи, близкие мне и Бобе, — отношение к людям, Блок, Москва, — для тебя кажутся такими же значительными, как и для нас, они не просто забава, мелочь, а частица тебя самой. Может быть, это неверно, но мне очень хочется, чтобы это было так, чтобы ты за каждой чужой строчкой видела себя, чтобы ты не могла жить без тишины, без кажущегося одиночества, без разговоров с собой. Мы не очень хорошо знаем друг друга, и я часто воображаю людей, а не вижу их, а вот по письмам легче судить.

Но тебе, наверное, не до писем, так ты должна уставать. На твое счастье, Наркомсвязь запретил писать более 4 страниц.

Дежурство подходит к концу — половина четвертого, скоро пойду будить смену. Рассветает по-настоящему, и небо уже не серое, а голубое, и виден весь город. Все-таки непривычно глядеть на темную Москву. Всегда, до самой глубокой ночи хоть в одном окне да был свет, и можно было выдумывать жизнь людям, живущим там, — делать их одинокими или счастливыми, заставляя писать стихи, говорить твоими мыслями. А теперь все окна темные и люди спят. А днем все ходят разморенные от жары, уставшие, неинтересные. Да и прохожих стало меньше,

---

<sup>16</sup> Боба — Борис Гинзберг, друг Муси Гинзбурга и Юры Бауэра, окончил истфак годом раньше. В 1940 — 1941 гг. служил в армии на Дальнем Востоке. Погиб в бою на Западном фронте весной 1942 г.

отправили матерей с детьми, никчемных жен. А мужчины больше ходят строем. Но стало спокойней — сводки гораздо лучше, особенно сегодняшняя дневная (слышал с чужих слов — в школе нет радио). Много ночей подряд не было тревог — луна оказалась полезной и для войск.

Ну, норма кончилась. Если удастся, позвоню сегодня тебе домой — там-то должны быть письма. Обещают, что с сегодняшнего дня нас загрузят по-настоящему. Дай-то бог. Имел письмо от Юрки — уезжает и больше писать не сможет. А я даже Галю не вижу. И как ей все рассказать? Хорошо, что я еще в Москве, а то пришлось бы ей это делать теперь.

До свидания, до новых писем, до встречи в Москве.

*Муська*

**Без даты, не позднее конца августа 1941 г.**

*Дорогая Галинка!* Блаженствую, пользуясь свободной минутой после завтрака. Даже спать не хочется, хотя встал в 4 и много работал. Работать вообще приходится — иногда днем, иногда ночью. Но не жалею. Кое-какая подготовка у меня все-таки была. Приеду здоровым, настоящим человеком. Может, даже желудок вылечу (это тебе как медичке).

Вот и полтора месяца прошло — время недосыпаний и переездов, проселочных дорог и пыли, пыли (помнишь у Киплинга — "Пыль", теперь я это понял). Было не до писем, не до стихов. Иногда приходилось трудно — не спать, когда хочется, работать натошак до завтрака, не мыться. А главное, ничего не знать о своих, о близких. Тем более что самое трудное — впереди.

Адрес у меня почетный — Действующая армия. Полевая почтовая станция 571.06. Артдивизион 76 мм. Но мы не действовали [...] Если сможешь, зайди к моей маме — она все-таки одна осталась.

Жму руку, целую.

*Муся*

**9 сентября 1941 г.**

*Дорогая Галинка!* Очень трудно написать о нашей жизни — теперь я понимаю Бобу. Один день похож на другой и тянутся будни, спокойные (к гулу канонады вдали давно привыкли, к самолетам тоже), обыкновенные. Но иногда случаются праздники или события из ряда вон выходящие. Прежде это была баня — теперь и к бане привыкли. Сегодня главное событие нашей жизни — лошади. Близится осень (осень, собственно, наступила, и по утрам уже изморозь, а днем дожди) и на автомобилях далеко не уедешь. По сему поводу переходим на конную тягу. Лошади уже у нас. Пока они отдыхают — по утрам мы их чистим, водим поить и пр., и пр. Лошади ничего. Пока еще не свалился. Скоро нацеплю шпоры, саблю, если дадут, и сяду на своего скакуна (как командиру орудия, мне полагается отдельная лошадь).

Пару недель будем осваивать конную тягу, доучим кое-что и, может быть, наконец, очутимся на фронте.

Наш фронт самый спокойный и благополучный. Сводка от 9.IX говорит именно о нашем направлении.

Очень хорошо провели МЮД. Были соревнования по огневой подготовке — мое орудие заняло 1-е место в дивизионе и, кажется, в полку. Потом был концерт — у нас в дивизии есть артисты Театра Революции, ребята из Консерватории. Даже приехала Енютина. Мы стосковались по нормальной жизни и даже плохонький концерт произвел очень большое впечатление. Обещали приезжать еще. Изредка почитываю Блока. Больше ничего нет. Сам ничего не пишу. Кстати, по сравнению с прошлым месяцем мы продвинулись километров на 30—40.

Галинка, у меня очень большая просьба к тебе. Зайди ко мне домой. Во-первых, там должны быть письма — от мамы, от отца, от Мимиши. Очень прошу переслать. Во-вторых, если мама не увезла, там есть мое белье, свитер (серый), перчатки, теплые носки. Очень и очень тебя прошу, пришли мне пару белья (теплого, если там есть) и все это барахло. Очень холодные ночи, и стоять на посту прохладно, утром руки коченеют, о ногах и не говорю — лишь портянки немного спасают. В землянках, конечно, значительно теплее, но теплое белье не помешает. Если

сама не сможешь, попроси Илью, Надю, кого-нибудь. Попроси Илью послать папирос (сигарет) или трубку. Перепиши в письме Пастернака "Годами, когда-нибудь..." — я немного забыл. Если сможешь, достань "Падение Парижа". Напишите подробнее о Бобе! От Юрки, может быть, были письма. Как домашние дела? Подробнее о Москве, о своей работе.

Извини за прозу — лошади отбили лирическое настроение.

Целую тебя.

*Муся*

### **Без даты, не позднее сентября**

*Дорогие мои.* Адрес вам известен. А вот писем от вас я не получаю, чем несколько изумлен. Я вообще не получаю писем, это, знаете ли, очень и очень неприятно. А в такую дрянную осеннюю погоду, как сегодня, хотелось бы разбирать Надины каракули и кандидатское послание Ильи. Кстати, мой хороший друг Галина Борисовна тоже не балует меня. В чем дело, ребята? Я вас очень прошу — и без шуток — писать регулярно. Буду отвечать — кровь за кровь, письмо за письмо [...] Еще просьба — табак и сладкое. Я нахал, конечно. Но все получают посылки и угощают, а мне нечем.

Что нового в журналах, какие книги пишут братья-писатели. Я лично кроме писем ничего не пишу, а письма мои где-то исчезают в пространстве. Написал уже давно Бобе, а ответа нет. Вообще никто не пишет. Перешлите хоть одно Бобино письмо — я скоро отвыкну от его почерка.

Спасибо Илье за письмо маме — уже получил от нее открытку.

Отвечайте, подробно напиши[те] за жизнь — обо всех делах, планах, перспективах.

Но отвечайте!

Целую всех (Галю, Надю, Илью).

*Муся*

## Без даты, не раньше середины сентября

*Дорогая Галинка!* Напиши о себе подробно. Мне очень не хватает тебя. Все будет хорошо, все, ты слышишь?

Целую тебя крепко, по-дружески. Эти сволочи заняли Новгород. Но мы еще будем в этом городе — втроем, в нашем, советском Новгороде.

*Муся*

## 27 сентября (вечер) 1941 г.

*Галинка, дорогая моя.* Я сижу у огонька в землянке — все ушли ужинать, я один. Гляжу в огонь и думаю обо всем, что было. Невеселое дело — вспоминать. Помнишь наши разговоры о красивой жизни? Глупые немного разговоры, а ведь пожить все-таки мы не успели.

А может быть, теперь мы и живем красивой жизнью во имя будущего, для детей, для нас самих когда-нибудь, для памяти. А мы не так думали: ни таскать по утрам навоз из конюшни, ни мерзнуть по ночам, ни драить пушку на ветру, и вдруг оказалось, что это нужно, нужней, чем все наши разговоры. А мы не умеем, это обидно, но не умеем делать очень простых вещей. Простых и необходимых. Любой деревенский парень даст мне на лошади 100 очков вперед, а он ведь не читал "Мой старик" Хемингуэя и не восхищался. Вот и выводы — плохо учились и не тому, то есть не только тому. И второе: 24 года, а личной жизни не было. Немножко стихов, немножко лирики, бегали по Москве. Кажется, все это не в порядке самобичевания. Я теперь опять начал бы делать то же. Но жить не успели. Может, это праздные мысли, но они обидные, очень обидные. Особенно обидно, что перед самой войной мне в первый раз в жизни повезло, и я не вел себя, как третий лишний. А теперь вот живу воспоминаниями о двух неделях хорошего счастья. Но в одном и в очень большом мы успели. Друзей легко забывают, на войне тем более. А мы друг друга никогда не забудем, у нас дружба на жизнь. И это очень дорого, что в Москве кто-то ждет твоих писем, думает обо мне, всегда помо-

жет. И я чем могу, а могу, к сожалению, очень немногим — словом, сердцем, письмами. Мы всегда вместе, где бы ни были, что бы с нами ни случилось. Хорошо, что ты чувствуешь это. Хорошо, что короткое письмо от тебя мне дороже любого другого, ты понимаешь. Я бы мог написать о нашей жизни, но пока она не изменилась. Да и не хочется отвечать тебе скучными описаниями, отвечать на такое письмо. Ничего, Галя, об этой прозе я успею написать, если она так скоро не кончится.

## 29 сентября.

Вчера не смог дописать. Жизни такой нам осталось недели 3—4, может, и меньше. Никто ничего не знает, когда мы наконец пойдем в дело. Но ясно, что всю войну в резерве сидеть нельзя, а стрелять мы, пожалуй, сумеем неплохо. За последние дни активизировалась немецкая авиация, все время летают над головой. Нас не трогают, и вообще это главным образом разведчики.

Еще новость иного характера — пару раз я успел свалиться с лошади, но цел и невредим. Кажется, наша батарея вышла на 1-е место в полку — тогда будем хранить полковое знамя. Вот и все.

Есть ли письма? Не волнуйся, Галинка, если нет. Юрка вряд ли имеет возможность пересылать их. Я почему-то за него спокоен. Такие, как он, не подведут.

Галинка, обязательно прочти "Красную звезду" от 26 — там статья о Новгороде. Немцы так и не смогли перейти Волхов. И Нередица, и Болотово, и Ковалево, вероятно, в наших руках. Скоро их погонят из города.

Целую крепко. Уверен в твоих силах. Только занимайся не так, как раньше. Вот, скоро и ты будешь здесь, уедет Илья, Надя, и в Москве никого не останется. Тем лучше, не будет так мучительно тянуть в Москву. Говорят, теперь в городе свет по ночам, хотя снова возобновились одиночные налеты. Кто в Москве из твоих старых друзей? Бываешь ли где-нибудь? Что делаешь? Похоже ли что-нибудь на довоенное время?

(неразб.) не могу (неразб.) Пиши, Галюша, хорошая моя, хоть раз в неделю, но пиши. Пришла осень, и иногда

бывает тоскливо. Еще раз целую. Не горюй, все имеет конец, только жизнь (неразб.) мы будем жить.

*Муся*

Еще раз спасибо за письмо, но не присылай таких конвертов — очень медленно доходят.

**Из сохранившихся  
в рукописи стихотворений  
Моисея Гинзбурга**

**Бобе [Гинзбергу]**

Видно, мы от рождения лирики,  
И поэтому нам положено  
Одинок бродить у Москвы-реки  
По местам сотни раз исхоженным,  
Начитавшись стихами грустными,  
Замечать слишком много нежного,  
Слишком больно обиды чувствовать  
И дышать пустыми надеждами.  
Мы остались неисправимыми,  
Хотя в жизни бывало всякое.  
Уходили от нас любимые,  
Мы на свадьбах чужих не плакали,  
Лишь шутили и балаганили —  
Все равно они нам не верили.  
На всю жизнь однажды ранили  
Наше сердце глазами серыми.  
Вот и бродим ночами скучными  
По пустым берегам Москвы-реки  
Да читаем стихи измученно  
Одинокие птицы-лирики.

8 сентября 1939 г.

## Юре

Совсем тепло. И пахнет этот вечер  
Густым и липким потом тополей.  
Мне двадцать два — мне защищаться нечем  
От невозможной юности моей.  
И я брожу по тихим переулкам,  
Сутулю плечи, пробую слова.  
Не в такт шуршит, по-майскому негулко  
Зеленая, прозрачная листва.  
Шуршит листва, шуршит себе без прока.  
И как ни строй печальные глаза,  
Чужое счастье тянется из окон,  
Чужое счастье не дает писать.  
Ну напишу — тоскливо-претоскливо,  
Кому нужна моя галиматья!  
Из темноты идут неторопливо  
Влюбленные — такие же, как я.  
Совсем, как я, — и сердце бьет не чаще,  
Не веселее сердца моего.  
Так откровенно — что такое счастье?  
— Улыбка друга, больше ничего.

Май, 1940 г.

## Бобе

Парня посылают на границу,  
На Восток , на самый край страны.  
По ночам одни и те же лица,  
Те же пересмотренные сны.  
Девушка, которую ни разу  
Почему-то он не целовал,  
Тихие несказанные фразы,  
Нежные, ненужные слова...  
И Москва, и синие бульвары,  
Фонари в тумане снеговом,  
И у ней, и все осталось старым,  
Те же звезды мерзнут за окном.  
Девушка выслушивает ночи,

Этот сон, к которому привык.  
Может быть, она и не захочет  
Выслушать такое напрямик?  
Но теперь он далеко запряган,  
Долго не воротится назад.  
Сны не поступают к адресатам,  
Стоит ли стесняться за глаза?  
Столько верст, и письма не доходят.  
Разве мимоходом, иногда.  
Ничего — в мальчишеской природе  
До конца надеяться и ждать,  
Видеть сны и сочинять посланья,  
Захлебнувшись в собственной любви,  
Глупо улыбаться при прощанье,  
Под чужими звездами бродить.  
И жалеть несказанные фразы,  
И писать ненужные слова  
Девушке, которую ни разу  
Наяву еще не целовал.

\*\*\*

Тебе скучно со мной — я знаю.  
Я уйду, не волнуйся, уйду,  
Ни стихов своих не прочитаю,  
Ни улыбки не украду.  
Не поможет моя отсебятина.  
А простыми словами сказать?  
Только на руки, на руки взять тебя,  
Затонуть в изумленных глазах?  
Все равно — и тогда не поверишь.  
Ни словам, ни стихам, ничему.  
Я встаю и прощаюсь у двери.  
Уступаю дорогу ему.  
Я привыкну, а это и страшно,  
Утешаться любой ерундой,  
Буду тихим, спокойным, домашним,  
Лишь затем, чтоб встречаться с тобой.  
Признаваться, не бойся, не стану,

Только так — загляну, посижу  
В уголке, в темноте, на диване,  
Потихоньку в глаза погляжу.  
А когда заскучаешь, я знаю,  
Как сегодня, прощусь и уйду,  
Ни стихов своих не прочитаю,  
Ни улыбки не украду.

Февраль 1940 г.

Было тихо, тихо. Мы лежали.  
А над нами серенькое небо  
Уходило вдаль и там сливалось  
С серыми спокойными полями.  
Вдалеке едва виднелся Ильмень,  
Тоже серый, и монастыри.  
Ничего на свете не хотелось,  
Только так лежать и видеть небо  
И молчать. Мы завтра уезжали.  
Вот и все. И все еще вернется  
Эта ночь и тишина над нами...

1940 г.

## ИГОРЬ САВКОВ

Последние слова Игоря Савкова "...Хотя я совершенно не сомневаюсь, что останусь цел и невредим, - это из его письма, - у меня на этот счет твердое предчувствие".

Предчувствие обмануло? В фактическом отношении — так. Но можно и иначе посмотреть на жизнь его и ее финал. Да и на самую убежденность в том, что выживет вопреки всему. Я бы не рискнул именовать Игоря безоглядным оптимистом. Другие слова просятся. Недавно я перечитывал военные рассказы Андрея Платонова и задержался на строках: "Человек, если он проживет хотя

бы лет до двадцати, обязательно бывает много раз близок к смерти или даже переступает порог своей гибели, но возвращается обратно к жизни... Смерть вообще не однажды приходит к человеку, не однажды в нашей жизни она бывает близким спутником нашего существования, но лишь однажды ей удается неразлучно овладеть человеком, который столь часто на протяжении своей недолгой жизни — иногда с небрежным мужеством — одолевал ее и отдалял от себя в будущее".

"Небрежное мужество" — вот что задело и, вызвав согласие рядом с удивлением, призвало посмотреть на нас, из Тридцатых и Сороковых вещими платоновскими глазами. Услышать сызнова стучавшуюся к нам смерть. К нам - прямо, но много чаще она уносила и уводила не нас самих, а НАС В БЛИЗКИХ. - с тем нарастающим постоянством, которое не то чтобы приучало к гибели, но как бы одомашнивало ее, наглухо скрепляя с жизнью. Это была наша капитуляция? Убежден: однозначного ответа нет. Не было места однозначному в судьбе поколения. И в судьбе отдельного человека. Доказательство — Игорь Савков.

Трудно вспомнить сейчас, почему, отбирая для сборника письма Игоря жене, мы опустили то, которое датировано 4 сентября 1941 года. Сейчас оно видится ключевым. И хотя нет в нем закодированных мыслей, пояснения необходимы.

"...Пишу тебе чернилами. Это означает, что я заделался канцелярской крысой". Ирония с трудом скрывает боль. Дело в том, что Игорь был "белобилетником". Внешне — без телесных дефектов, стройный, румяный, энергичный, уверенный. Внутри же — затаившаяся эпилепсия. Болезнь, разумеется, не была для него секретом. Но он не признавал за нею права определять его жизненные решения. Скрывая недуг, пошел по комсомольскому призыву добровольцем на ту "незнаменитую" финскую войну, которая несла в себе прообраз катастрофы 41-го года.

Римма Алексеевна Савкова бережно хранит переданные с оказией карандашные записки Игоря из-под Серпухова, где готовили к отправке на фронт лыжные отряды москвичей. Скупые сведения о себе, постигающем

"воинскую мудрость", горькие заметки о царившей неразберихе. "Что касается перспектив, то не имей на этот счет никаких иллюзий. Милая, я знаю, что ты мужественная — поэтому пишу тебе только одной об этом... Или — или. Середины быть не может. Наблюдения за организацией всего этого дела приводят меня к убеждению, что дело кончится плохо". А в другой записке, спустя два дня (27 и 29 января 1940-го): "Удивительно все-таки, как быстро может человек попадать из одного полымя [?] в другое: вчера был студентом, сегодня — серая скотинка, завтра буду фронтовик. Все-таки как много любопытного мне предстоит увидеть и пережить! Жаль только, что нет полной уверенности, что удастся этими впечатлениями поделиться".

Казалось бы, уже готов к тому, что поджидало его впереди. Но не станем торопиться. Вспомним еще раз платоновское "небрежное мужество" в многоактном общении со смертью... На финский фронт Игорь не попал — приступ болезни и отправка домой. Переносил неудачу эту тяжело. Именно как неудачу, как поражение, заставлявшее усомниться в полноценности своего существования. Мы тогда как раз сблизились с ним, а так как зима была лютой, то общую работу (главу в "Очерках истории МГУ") делали в уютном замоскворецком обиталище Савковых. Я прикоснулся там к уходившему уже быту; Москва вчерашнего дня была и в интерьере, и в бабушкиной снеди, и в рассказах отца Игоря — участника баррикад 1905 года, а ко времени нашей с ним встречи — беспартийного врача, скептического, немногословного, но охотно вступившего, как сказали бы теперь, в диалог с незнакомцем из поколения, к какому принадлежал его сын. Прочность той домашней жизни, однако, была в чем-то обманчивой. "Стан" отца и "стан" бабушки незримо разделяла ушедшая до срока жизнь — смерть матери Игоря, сраженной раком. Как-то в минуту откровенности бабушка рассказала мне, что Владимир Мокиевич Савков не только сам оперировал жену, но и решил прервать ее мучительную агонию средством, которое мог себе позволить только любящий человек и врач, который не страшится взыска совести. Разумеется, тема эта исключалась в долгих наших разговорах с Игорем (сомневаюсь, что он

вообще знал об этом), но, когда дважды ночью меня поднимали его вскрики и судороги, я ощущал себя нечаянным свидетелем трагедии, втиснутой внутрь него и рвущейся высвободиться. Не оттого ли та страстная тяга его к самовоплощению, которую столь легко было принять за избыточное честолюбие? Быть может, что-то я и примысливаю, зная развязку, но чем больше я думаю о его конце, тем упорнее отклоняю дурную привычку мерить совпавшие судьбы моих сверстников тождеством стимулов и стереотипом судьбою навязанных решений.

Итак, 1941-й. Счастливый — роковой год. Женитьба, блаженство совместности, ожидание ребенка, отступающая болезнь, а с нею и угрызения одиночества. Увлеченность наукой, да еще "без пяти минут дипломат" (отобран был для подготовки к этому поприщу и успел блестяще сдать вступительные экзамены в Высшую дипломатическую школу). Обрыв — 22 июня. И снова "белый билет" побоку. И вновь, по всей видимости, дала о себе знать болезнь. Отчисленный из ополченческого боевого порядка в писари ("что за отвратительное слово"), затем политотдельский канцелярист — с перспективой стать переводчиком в штабе. Состоялся ли в этом качестве либо в новом, схожем и более опасном? Не знаем. Ибо дальше — страшные октябрьские дни 41-го, когда смерть сняла обильный урожай на нашем истфаковском поле.

Последний маршрут Игоря — мгновенная ли гибель, как и многих ополченцев, либо она же, растянутая во времени? Или все-таки спасение, то или иное вызволение жизни? Мимолетная встреча с однокурсником, узнавшим Игоря среди огромного людского скопища, загнанного за колючую проволоку, — по голосу, переводившему с немецкого на русский приказы охранников, неисполнение которых угрожало смертью без промедления. Короткий разговор, разлука. Илье Ольшанскому удалось бежать. А Игорь? Темнота безвестия — без двух лет полвека. Быстро состарившись, умер отец. Росла дочь, которую он так и не увидел. Жена, друзья искали след его, как и других. Содружество истфаковцев (Илья Ольшанский — один из самых настойчивых) добилось занесения имени Игоря в почетный перечень павших в бою.

В рукописи датой кончины его назван был 41-й год. Оказалось — иначе. Неожиданно пробила весть. Мы обязаны этим тверяку Евгению Степановичу Федорову, участнику войны, пенсионеру, долго и упорно собирающему материалы об истории Ржева в оккупации, о людях ржевского подполья.

Федоров встретился с Савковым в 1990-м. Горестная правда пришла с документами жандармерии вермахта, замурованными многие годы в архиве КГБ. ГФП: тайная полевая полиция, группа 580. 2 июня 1942 года направляла очередное секретное донесение в Берлин: "Важные события по обеспечению безопасности" — раздел, содержащий сведения о пойманных, уничтоженных, разыскиваемых. Для десятидневной сводки их немало. И это понятно. Провинциальный Ржев занимал важное место в стратегических расчетах. С середины 42-го здесь развернется кровопролитнейшее сражение; оно уже готовилось нашей стороной, разведка прощупывала позиции противника, немецкие жандармы вылавливали парашютистов с рациями, давало о себе знать антифашистское подполье. Вот в каком окружении ближних фактов возникает имя Альбрехта Мейера — переводчика из "ГФП — наружная служба". Сыск и предательство (бывшая русская агентесса) вывели на группу молодых людей, "вынашивавших замысел перейти на сторону Красной Армии и захватить... какие-то зарисовки и записи". 22 мая схватили пятерых. В этот же день был установлен исполнитель этих "записей". Однако он успел избежать ареста, "извлек из своего тайника пистолет" и попытался перейти линию фронта. "В результате обширных поисковых мероприятий на следующий день он был задержан". Этот человек знал, что ему уготовано. Дабы успеть, он сразу назвал свое истинное имя: "Савков Игорь, 18.03.1919 г. рожд., уроженец г. Москвы".

Обратное движение часовой стрелки — равнодушными словами полицейского донесения: "Савков в октябре 1941 г. попал в германский плен. В силу прекрасного знания немецкого языка он был направлен в качестве переводчика в роту по снабжению. С этой частью в феврале с.г. он через Ржев-Муравьево попал в Ладыгино. Из-за близости русского фронта в начале марта он бежал', что-

бы возвратиться назад, к русским. При этом он заблудился и был снова схвачен западнее г. Ржева и доставлен в 1"Ц" при VI АК (армейском корпусе) для допроса. Здесь он выдал себя за поволжского немца". Случайное ли имя взял? Дюрер (Альбрехт) был в числе его любимых художников, с Мейером, студентом истфака на курс моложе нашего, тоже археологом, Игорь дружил.

Об остальном, что после поимки и до смертного часа, не станем строить догадок...

"Я — Игорь Савков" — это не для них, карателей. Это — родному Замоскворечью. Это — на Герцена, 5. Это — жене, дочери, внучке и правнуку. Это — нам.

*"Если бы даже мне было безразлично мое собственное будущее, то со страхом думаю, что ты можешь не узнать во мне своего Игрушку после возвращения. Если бы я стал вдруг чужим для тебя, это была бы для меня самая большая трагедия.*

*Трагедии этой он избежал.*

М.Г.

*Савкова Р.*

## **ЧЕРЕЗ ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ ПОСЛЕ ВОЙНЫ...**<sup>17</sup>

Летом, в сорок втором,  
Я зарыт без могилы,  
Всем, что было потом,  
Смерть меня обделила.

*А. Твардовский "Я убит подо Ржевом"*

Игорь Савков, выпускник исторического факультета 1941 г., мой муж, сразу же- после объявления войны вступил в Московское народное ополчение, из которого была- сформирована 8-я Краснопресненская дивизия.

Он ушел на фронт добровольцем, скрыв тяжелое заболевание, являясь белобилетником. Мы с ним с нетерпением и радостью ожидали рождения ребенка.

3 октября 1941. г. их дивизия была полностью разгромлена немцами. В живых остались немногие. Значительная часть, в том числе Игорь Савков, пропали без вести. Этот день, оставшиеся в живых, по инициативе Совета ветеранов 8-й дивизии, чтят как траурный день, собираются во дворе московской школы № 83, на Красной Пресне, где формировалась эта дивизия — цвет московской молодежи, поминают погибших, собирают

---

<sup>17</sup> Материал Риммы Алексеевны Савковой был передан в 1994г. в Комнату Боевой Славы исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. В 1997г. в Археографическом ежегоднике вышла статья дочери Игоря и Риммы Савковых, в основу которой, видимо (судя по текстологическим совпадениям) лёг материал Р.А. Савковой (см.: Харьковская (Савкова) Н.И. Его звали Игорь Савков // Археографический ежегодник за 1997 год. М., 1997. с. 202-214). Публикация содержит напечатанные в первом издании "Голоса из мира, которого уже нет" письма, дополнена тезисами доклада Игоря "Москва и крымское ханство в 50-70- х годах XVI в. (Третья научная студенческая конференция Московского ордена Ленина Государственного университета им. М.В. Ломоносова 18-23 апреля 1941г. М., 1941) и довоенной переписки Савковых. На сегодняшний день это -наиболее полная публикация о талантливом, но, к сожалению, не успевшем себя реализовать, учёном. Дабы не дублировать информацию предыдущей публикации, мы не повторяем материалы Н.И. Харьковской (Савковой), а приводим материалы её матери Риммы Алексеевны. (В.Б.)

средства, на памятник.

На этих встречах бывала и я, надеясь узнать от них что-нибудь об Игоре.

Ежегодно, в мае, в День Памяти жертв Великой Отечественной войны, я с дочерью Наташей, родившейся в 1941 г., встречаемся у мемориала, и в комнате Совета ветеранов войны истфака с оставшимися в живых истфаковцами, чтобы вместе помянуть намернувшихся с войны.

В надежде найти хотя бы какие-то следы пропавшего без вести мужа, я в течение многих лет периодически обращалась в различные военные органы. Центральный военный архив в г. Подольске, в международный Красный Крест в Женеве, к Канцлеру Германии Г. Колю. Но все безуспешно; в нашей стране никаких сведений об Игоре не найдено, а Г. Коль молчит.

И вдруг, как гром среди ясного неба, в марте 1990 г. телефонный звонок из Дзержинского отдела КГБ г. Москвы: "Римма Алексеевна, что Вам известно об Игоре Савкове? Когда имели от него последние вести?" Пригласили к себе на беседу, просили принести фотографию Игоря.

Трудно передать мое потрясение от этой беседы! Мне было сказано, что об Игоре им ничего не известно, но некие "товарищи" (какие именно, они не назвали) просили их побеседовать со мной. И ни слова больше.

Лишь после письменного обращения дочери к Председателю КГБ СССР, через месяц в том же Дзержинском отделе КГБ сообщили, что «материалы об И. Савкове находятся в облуправлении КГБ и при этом добавили: "Не волнуйтесь. Ваш муж честный человек"».

На следующий день я была в г. Калинин, в областном управлении КГБ. Однако здесь меня далее порога не допустили, выразили изумление, что по такому поводу я ехала из Москвы, предложили оставить письменное заявление по интересующему меня вопросу и сказали: "Ждите ответа".

Ответ они так и не прислали.

После этих встреч с органами, мне стало ясно, что в одиночку такую стену я не одолею.

По советам друзей и писательницы Е. Ржевской я

обратилась в редакцию газеты "Известия", где встрети- лась с корреспондентом Максимовой Э.М., которая по свежнему следу тут же, в мае 1990 г. выехала в г. Кали- нин, в областное управление КГБ. Только благодаря настойчивости корреспондента ответственный сотруд- ник Управления сообщил ей, что никакого дела на Сав- кова Игоря у них не заводилось. Он рекомендовал обратиться за помощью к их бывшему сотруднику, пен- сионеру, участнику войны Федорову Евгению Степано- вичу, жителю Калинина, который в качестве "хобби" занимается изучением истории г. Ржева в период его ок- купации немцами в Отечественную войну.

При повторной поездке в г. Калинин Максимовой Э.М. удалось встретиться с Федоровым Е.С. Он расска- зал ей о своих поисках и находках, связанных с деятель- ностью советских граждан против немецких оккупантов в г. Ржеве. В процессе этой работы ему стало известно о связи с одной из подпольных организации советского во- еннопленного, работавшего у немцев в качестве пере- водчика под именем Альбрехта Мейера. В дальнейшем Федорову удалось установить, что действительное имя переводчика — Игорь Савков, из Москвы. Он был выдан немцам и погиб вместе с ржевским подпольщиками.

Вскоре побывали у Федорова Е.С. и я с дочерью.

Подробности этой истории были опубликованы кор. Максимовой Э.М. в газете "Известия" от 9 июня 1990 г., № 161.

Только благодаря упорству, настойчивости и про- фессионализму Федорова Е.С. удалось получить из гер- манского военного архива (по каналам КГБ) документы, содержащие сведения о судьбе Игоря.

Какие же это документы:

1. Дневник (отчет) на немецком языке (перевод на русский язык сделан в Калининском управлении КГБ) комиссара тайной полевой полиции группы 580 от 2.06.42 г. о деятельности советских граж- дан против немецких оккупантов (с грифом "Секретно"). Такие дневники направлялись немцами в соответствующие службы ежемесяч- но. В указанном Дневнике содержится следующая информация: в октябре 1941 г. Савков попал

в германский плен и, как прекрасно владеющий немецким языком, был направлен в роту снабжения.

С этой частью в феврале 1942 г. он через Ржев-Муравьево попал в Ладыгино. Из-за близости русского фронта в начале марта он бежал, чтобы возвратиться назад к русским. При этом он заблудился, был снова схвачен западнее Ржева и доставлен в Ржев для допроса. Здесь он выдал себя за заволжского немца, присвоил себе имя Альбрехт Мейер. В начале апреля он был передан в наружную службу ГФП (тайная полевая полиция). 22.05.42 г. немецкому служащему, ст. аптекарю Райбеллингу, стало известно от работавшей у него русской, что ее близкие знакомые готовятся к побегу к Красной Армии, имея при себе какие-то зарисовки и записки, полученные ими от какого-то переводчика. По совету немца девушка сняла с них копии и передала немцу. На основании этих данных были арестованы 5 человек. В этот же день был установлен исполнитель этих документов: русский военнопленный, работавший переводчиком в наружной службе ГФП, по имени Альбрехт Мейер, фактически оказавшийся Игорем Савковым, 18.03.1919 г. рождения, уроженец г. Москвы. Савков бежал из-под ареста, захватив из своего тайника пистолет. В результате обширных поисковых мероприятий на следующий день он был задержан недалеко от линии фронта.

Ввиду безнадежности своего положения он раскрыл свое подлинное имя. Возможно, он надеялся, что когда-нибудь его близким станет известно о его судьбе.

2. Второй документ, полученный из германского военного архива, — это объявление по г. Ржеву, подписанное командующим германскими войсками от 1 июня 1942 г., следующего содержания:

«Уличенные в саботаже и шпионаже, бывший красноармеец Игорь Савков из Москвы и его соучастники: Эдуард Соловьев из Ржева, Николай Рыжаков из Ржева, Василий Киликов из Ржева сегодня расстреляны».

Вина казненных доказана найденными при них документами, а равно и их собственными признаниями.

Истреблением этой банды г. Ржеву и его населению

отвергнута большая опасность.

1 июня 1942 г. Командующий германскими войсками."

По сведениям, имеющимся у Федорова Е.С., жительница г. Ржева, по доносу которой погибли молодые патриоты, бежала с немцами и проживает в Бельгии.

1-2 июня 1993 г. я с дочерью была в г. Ржеве, чтобы поклониться земле, на которой погиб Игорь за Родину, за нас. Но нет могилы и некуда положить цветы и горстку московской земли.

В результате неоднократных поездок в г. Ржев, длительных поисков и встреч с уцелевшими ржевцами — возможными очевидцами тех трагических события — Федоров Е.С. пришел к выводу, что Игорь был казнен на территории тюрьмы и там же захоронен.

Так как я не имела никаких документов, подтверждающих гибель Игоря в г. Ржеве, я обратилась с соответствующей просьбой к Министру госбезопасности России.

Осенью 1993 г. мне наконец были выданы Архивным Управлением МГБ на Лубянке ксерокопии указанных выше документов.

Наш земной поклон Федорову Евгению Степановичу из Твери (бывш. Калинин), вернувшему из небытия имя Игоря Савкова. Он как будто бы воскресил, приблизил Игоря к нам. Его огромный, бескорыстный труд поднял какие-то неведомые пласты Памяти, хранящиеся в душах людей, вплоть до чудес; через 50 лет наша дочь Наташа услышала живой голос своего отца! Он зазвучал с крошечной пластинки (так назыв. "Говорящее письмо"), на котором в 1940 г. Игорь и его друг Лев Сечан, погибший в начале войны, поздравляли сокурсника Михаила Юрьева с днем рождения. Эта пластиночка была найдена и передана мне вдовой М. Юрьева<sup>18</sup>, Марией Вениаминовной, с которой я не была знакома. В Архиве им. Октябрьской революции (ныне Государственный Архив Российской Федерации -В.Б.), куда я обратилась за помощью, помогли восстановить запись на хрупкой пластинке.

---

<sup>18</sup> Юрьев Михаил -студент 1937-1941 гг. Ветеран Великой Отечественной войны. Известный востоковед. (В.Б.)

Вскоре меня разыскал незнакомый мне Владимир Викторович Равдин. Он рассказал, что после смерти его мамы, Тамары Владимировны Равдиной, историка, он нашел в ее бумагах рукопись, посвященную студенческой работе Игоря Савкова, опубликованной в Сборнике научных студенческих работ МГУ под названием "Курганы с. Черемушки" [...]"<sup>19</sup> Сын Т.В. Равдиной не только позвонил мне, но и передал мне с дочерью эту работу своей мамы с удивительной сердечностью, навестил нас, помог оформить и переплести сборник писем с фронта погибших студентов-историков, в т.ч. и Игоря [...] Отдавая дань памяти Игоря, историк В. Кутейтикова-Осповат прислала мне копию сохранившегося шуточного "Дневника лодочной экспедиции" студентов 1-ого курса исторического факультета МГУ в августе 1939 г. по реке Белой в составе: О. Босина, М. Гинзбурга, С. Осипова, И. Савкова, К. Забродина и Б. Святского. Этот поход был совершен на двух лодках-развалюхах, приобретенных ими на месте, одну из которых они нарекли "Улыбка", а другую "Историк-марксист", давшую вскоре безнадежную течь.

Возвращаясь к началу истории судьбы Игоря Савкова, чудесному воскресению его памяти, не могу не добавить, что в июне 1990 года, когда нам стало известно о его гибели, возник как бы обратный сигнал из космоса — как символ связи нас живых с ним, умершим: неожиданно расцвел обычно скупой на цветы, наш домашний листоподобный кактус — он одновременно выбросил на своих листьях 23 прекрасных цветка.

1 июня 1942 г., в день казни, Игорю было 23 года.

Римма Савкова, жена.  
Март 1994 года.

---

<sup>19</sup> Материал Т.В. Равдиной приводится ниже (В.Б.)

## *Работа Игоря Савкова*

### *"КУРГАНЫ СЕЛА ЧЕРЁМУШКИ"<sup>20</sup>*

*Равдина Т.*

Игорь Савков специализировался по кафедре Истории СССР и как учёный уже высоко оценен своими однокурсниками и научным руководителем С.В. Бахрушиным... Но Игорь Савков с 1938 г. активно участвовал и в археологических раскопках Новгорода и подмосковных курганов, проводимых кафедрой археологии под руководством А.В. Арциховского. О раскопках черёмушкинских курганов в 1938 г. он, студент, написал отчёт, а затем сделал доклад на учёном совете института археологии АН СССР. Этот доклад в виде статьи "Курганы с. Черёмушки" был опубликован в 1940г. в сборнике студенческих работ.

Я в своей 40-летней археологической деятельности изучила сотни отчётов, статей, книг по древнерусским курганам, сама написала на эту тему отчёты, статьи, диссертацию и книгу. Поэтому с полной уверенностью могу сказать, что статья 20-летнего Игоря Савкова лучшая из статей о курганах -без скидок на возраст и на 50-летнюю давность работы. В отличие от современных Савкову статей, фиксировавших более или менее добросовестно выкопанное из курганов, Игорь произвёл такие исследования и сопоставления, которые не делали "взрослые" археологи. В своей работе он вышел на исторические выводы о древнем Подмосковье. Например, курганы с. Черёмушки являются древнейшими среди курганов ближайшего Подмосковья и относятся к первой половине XII в. Кости животных, найденные в каждом кургане, Савков отдал на определение зоологу и оказалось, что древняя лошадь была низкорослой и небольшой. Кроме того, большинство лошадиных костей оказались вываренными, а это значит, что конину упо-

---

<sup>20</sup> В Комнате Боевой славы исторического факультета хранится пять рукописных вариантов отзыва Т. Равдиной о работе И. Савкова. Кроме того, храниться выверенный печатный текст, который и лёг в основу прилагаемой публикации, дополненный некоторыми фрагментами других вариантов (В.Б.).

требляли в пищу. Но все летописные упоминания об употреблении конины связаны с рассказами о голоде, недороде, осаде. Савков считал, что древние черёмушкинцы, как летописные вятичи, "едят всё нечистое", в том числе и конину. По скрупулёзному, "ювелирному" обследованию тридцати трёх орнаментированных бляшек от мужского пояса, Савкову удалось установить, что бляшки отлиты в трёх литейных формах, а не в одной. Среди коллекций исторического музея он нашёл очень похожие бляшки из Тушина и обследовал их. При анализе своего материала Игорь Савков изучил материалы раскопок в Черёмушках 1926 г. и опубликовал их. Знание археологической литературы и музейных коллекций позволило ему сопоставить черёмушкинский материал с другим древнерусским и сделать сопоставления и сравнения. В связи с парным "валетообразным" погребением в Черёмушках, Савков нашёл в литературе все подобные случаи парных захоронений. В связи с находкой пружинного проволочного перстня, Савков пришёл к выводу о том, что в славянских древностях они редки и типичны для финских древностей до XII в., т.е. погребённые с этим перстнем более раннее захоронение. В двух сердоликовых бипирамидальных бусинах он заметил второй канал – поперечный – и заключил, что бусины эти, единственные в погребении, были не бусинами, а пуговками. В связи с находкой конских удил в одном погребении Савков даёт сводку находок удил в курганах древней Руси и заключает, что в погребениях позже X в. удила являются редкой находкой. Одно пятилопастное, височное кольцо по классической работе отца советской археологии А.В. Арциховского датировалось XIII в., но Савков доказал, что оно относилось к XII в.! (в моей диссертации 1975г. эта датировка доказана на большом статистическом материале тысяч курганных вещей из Подмосковья).

Одним словом, работа 20-летнего Игоря Савкова "Курганы с. Черёмушки" (1938 - 1940 гг.) является высоконаучным исследованием и до сих пор вызывает у меня восхищение.

Т.В. Равдина

## *Письма Игоря Савкова*

**4 сентября 1941 г.**<sup>21</sup>

*Родная моя Римуленька!*

Как видишь, пишу тебе чернилами. Это означает, что я заделался канцелярской крысой. 31 августа меня перевели в штаб, где мне пришлось стать писарем (что за отвратительное слово!) в отделе вещевого снабжения нашего полка. Как я ни упирался — в строю остаться не удалось. Правда, положительные стороны этого уже сказываются. Наступили холода, уже несколько дней подряд идут дожди и жизнь в лесу стала, вероятно, совсем невыносимой. А ведь спят ребята, должно быть, по-прежнему на земле, сена не всегда можно достать. Я застал всего 3—4 дня ненастья, и это было очень скверно. Теперь же я живу в теплом доме, сплю мягко (на сене), раздеваюсь, каждый день умываюсь, бреюсь у полкового парикмахера. Но этот "комфорт", неоценимый в боевых условиях, достался мне ценой не то, чтобы неэквивалентной, но чрезвычайно пакостной. Я вынужден теперь 10—12 часов переписывать ведомости на доставку брюк и гимнастеров, составлять отчеты сходного содержания, просто графить бумагу. Какое занятие для без пяти минут дипломата, для без полчаса историка. Конечно, не за этим шел я в армию, но раз так сложились обстоятельства, то приходится делать то, что укажут. Пока я ко всему этому отношусь иронически, и с моим мировоззрением этого, надеюсь, хватит надолго, но страшно подумать, что моя писарская карьера может продлиться 2—3 года. Здесь уже не до иронии. Перспектива постепенного отупления меня несколько не прельщает. Если бы даже мне было бы безразлично мое собственное будущее, то со страхом думаю, что ты можешь не узнать во мне своего Игрушку после возвращения. Если бы я стал вдруг чужим для тебя, это была бы для меня самая большая трагедия. Такая идиллия встречи после войны, которая описывается во "Вражде" Олдингтона, может быть и заманчива, но менее всего правдоподобна.

---

<sup>21</sup> В предыдущем издании это письмо публиковалось отдельно, в конце сборника, со статьей, вынесенной в данном издании в начало всего раздела об Игоре Савкове (В.Б.).

В канцелярии нашей несколько человек. Большинство — старые бухгалтеры и счетоводы, поседевшие и нажившие геморрой на писанине. Непосредственный начальник — старый повытчик, с любезными ухватками, слащавым голосом и надоедливymi педантичными манерами. Я хотя и являюсь белой вороной, но все же сумел себя поставить, и хотя еще не вполне исправно мараю бумагу, но держусь независимо и "начальство" обходится уважительно [...]

Подумать только, что обо всем об этом приходится писать. когда только 5 дней отделяют меня от годовщины нашей женитьбы. Восхитительные воспоминания, подлая действительность. Кисуля, хотя я думаю о тебе каждую минуту, но впервые увидел тебя во сне я лишь неделю тому назад. Теперь ты снишься мне каждый день, причем все более и более отчетливо. Но я совсем не представляю себе твоей фигуры теперь. И никогда не увижу! Как знать, сколько будет лет нашему крошке, когда я впервые его увижу. Люблю тебя беспрестанно, все сильнее, все безнадежнее [...]

Твой Игрушенька

P.S. На днях мы снова переехали и теперь день и ночь слышен гул орудий.

**18 сентября 1941 г.**

*Родная моя Кисуленька, дорогая, дорогая.*<sup>22</sup> Вслед за твоей открыткой я получил и долгожданное письмо. Конечно рад за тебя, что ты хорошо устроилась, что ты у родных и любящих тебя людей. Знать это — самое для меня главное. К сожалению, о большем, о том, чтобы быть подле тебя, я не могу сейчас и мечтать, и не смогу многие и многие месяцы. Ты уже знаешь, что я сейчас служу секретарем политотдела и что из армии по состоянию здоровья сейчас никого не увольняют. Как велико должно быть твое разочарование. Я прекрасно себе представляю. Но будь мужественной. Я убежден, что ничто не

---

<sup>22</sup> Адресат — жена Римма Савкова.

может разрушить нашей любви и мы переживем это трудное испытание. Тебе, конечно, тяжелее, чем мне, — ты должна стать матерью, ты сейчас беспомощна, а у меня есть работа. Но зато скоро наш маленький станет для тебя утешением, поддержкой и вместе с тем бременем, которое отвлечет тебя. В нем ты будешь иметь залог нашего будущего счастья. Оно будет, должно быть, не похожее на наше старое, московское, как изменимся и мы сами, но оно будет таким же лучезарным, таким же радостным. Не бойся за будущее, Кисуля, я тоже теперь не боюсь. Я изменюсь, но не стану для тебя хуже, ты же навсегда останешься маленькой, нежной Римуленькой, которая в состоянии понять все на свете и которая мне верит больше всех на свете.

Я и издали постараюсь, чтобы тебя не омрачали материальные заботы. Я думаю, что месяца через два я получу какое-либо военное звание, и тогда, даже в случае, если ты потеряешь стипендию, ты будешь обеспечена. Пока же с этой стороны все обстоит благополучно, отец писал мне, что он будет тебе помогать, чтобы ты могла учиться. С его стороны это необыкновенно хорошо, я ему безмерно благодарен. Только есть ли в Саратове юридический институт? Если нет, то нельзя ли тебе как-либо устроиться на заочный или переключиться, без особой потери времени, на другую специальность? Ведь хотя я совершенно не сомневаюсь в том, что я останусь цел и невредим (у меня на этот счет твердое предчувствие, если можно так сказать), но все же бог весть куда закинет меня судьба.

Последние дни, когда у меня есть свободное время, мне приходит в голову "Хождение по мукам" Толстого, которое мы читали с тобой еще так недавно. Только теперь я вполне понимаю всю силу этого произведения, боль, которой оно проникнуто. Мне сами собой напрашиваются если не параллели, то аналогии. Но если от подобных размышлений и я впадаю подчас в меланхолию, то в основном я бодр, полон надежд и твердой уверенности, что черная туча, которая закрыла на время наш лучезарный горизонт, минует. А пока надо быть мужественным и мужественным. И немного ироничным — это никогда не мешает.

Живу я сейчас в деревне из 20 дворов. Наш политотдел помещается в просторной избе. Тут же и спим — на полу на попоне. Наш быт — мечта для всех батареЙцев. Кухня расположена в лесу, за околицей (в целях маскировки), и ужинать ходим в непроглядной темноте. Дорога известна теперь на ощупь идеально — осязать можно, оказывается, и ботинками. Работой загружен нерегулярно: иногда густо (с 7 утра до 1 часу ночи), иногда совсем пусто (сегодня). Газеты мы получаем уже на следующий день. Фронт дает себя чувствовать как в ежедневных новостях, так и в заревах по ночам и в отдаленной канонаде. Кое-кто привез с собой книги, но взяться за них не тянет. Гораздо большее удовольствие получаешь от воспоминаний о прочитанном раньше. Вот каков мой быт.

Напиши подробнее о себе, чем занимаешься, с кем знакома. Знакомься, пожалуйста, с молодыми людьми — пусть за тобой ухаживают.

Крепко, крепко тебя целую (я один). Обнимаю милую тетю Маню. Привет маме и бабушке (хоть на нее я сердит).

Игорь

**22 сентября 1941 г.**

*Кисуленька, родная, любимая!* Вчера пришла твоя открытка от 9-го и я снова вспомнил о том, о чем упорно стараюсь забыть, о чем иногда забываю в бестолковой сутолоке дня. Мне трудно себе представить что-либо противоестественнее, чем наша разлука в самый разгар нашего счастья, в самый расцвет наших надежд.

Когда, как сегодня, выпадает пустой день, я с особенной болью ощущаю, что тебя нет со мной, что ты живешь где-то без меня, может быть, нуждаешься в моей поддержке, защите, а я даже не знаю об этом. Дни проходят так же равномерно-бессмысленно, как падают капли из водопровода. Солнце уже давно не показывается, за окном гудит ветер, кажется, что отрезан от всего мира, и даже падение Киева ощущается как потустороннее событие.

Я нахожусь сейчас в состоянии апатии и думать могу лишь о тебе, о твоих днях, и так как они представляются мне такими же лишенными содержания, смысла, цели, пустыми оболочками старых дней, которые куда-то испарились, то тоска щемит мне сердце. Для чего желать мне того-то и того-то, если это желание не приведет меня к тебе. Соединение с тобой — вот маяк, который светит мне в тумане, и на этот маяк я буду... ну, молиться, что ли, черт подери, что я еще могу сделать? Родная моя, не сердись, что я нервничаю, но ты поймешь меня, что станешь фаталистом, если просидишь без всякого дела в пустой комнате, в глухой деревне много часов (только сегодня уже 5 часов), в то время как моя любимая ждет меня за тридевять земель, в то время как в 70 км от тебя льется кровь. На людях я не нервничаю, я официально-спокоен. И не сижу сложа руки. Война будет длительной, и мои знания еще понадобятся, а поэтому не теряй надежду на нашу встречу. Только вооружись терпением. И знаешь что? Поставь себе определенный срок, условный, лишенный всякого содержания, ну, скажем, 22 декабря, и считай дни до этого срока. Если за это время ничего не случится, отодвинь его немного и надейся, что это случится еще через 2 месяца. Так поступают люди, которые не могут сразу влезть на высокую гору: они ставят себе задачей долезть до одного камня, потом до другого и, наконец, взбираются на вершину. Дорогая моя, с этой вершины нам вновь откроются чудесные горизонты. Я верю в это, я знаю это. Залогом этому — ты — самая хорошая, нежная, умная. Кисуля, я соскучился по тебе не как муж, не как отец семейства, но как школьник, худеющий в тоске по своей недоступной возлюбленной. Разлука сделала мою любовь к тебе еще более пылкой, может быть, наивной. Я сейчас никогда не сказал бы тебе, что если бы мы поехали на курорт, то я "для приличия" стал бы уделять внимание другим — я понимаю теперь, как это должно было пошло звучать, понимаю твою досаду.

Я сейчас не могу разговаривать ни с одной женщиной (при штабе они все же водятся), даже в романах не могу читать про чужую любовь. Римуленька, я никогда не любил тебя так полно, как теперь, — и вот нас разделяет тысяча километров. Родная, обнимаю тебя, покрываю по-

целуями глаза твои — первое, что я в тебе полюбил семь лет назад. Кисуленька, я всегда с тобой, я помню запах твоих волос, твою спину, твои ласковые руки. Я никогда не смогу забыть все это, я стараюсь забыть (но не могу ни на минуту).

Пиши мне, пиши мне чаще — ведь не события интересуют меня; сквозь строчки твоего письма мне слышится твой живой голос, я вспоминаю все его интонации. Родная, мне хочется тебя подбодрить, но могу ли я сказать тебе "не грусти", когда сам я по тебе так тоскую. Надейся! Вот лучший совет, который я могу тебе дать. А если я сам услышу его от тебя, то, может быть, следующее мое письмо выйдет не таким унылым.

Еще и еще раз обнимаю мою маленькую, любимую. Крепко, крепко прижимаюсь к тебе.

Твой Игрушка

Целую тетю Маню. Не могу найти слов, чтобы отблагодарить ее.

**25 сентября 1941 г.**

*Моя хорошая, любимая Римуленька!*

Два дня назад отправил тебе письмо, а сегодня снова есть okazия в Москву, и я спешу тебе написать. Ну, само собой понятно, что никаких перемен в моей жизни нет. Как это ни странно, но никогда жизнь моя не была беднее событиями, чем в 70 км от фронта. Но, видно, такова логика позиционной войны, установившейся на нашем участке. Те, которые приезжают с передовых линий, рассказывают, что они лежат в 40 м от немцев, ведут непрерывный пулеметный огонь, сами подвергаются ураганному минометному и пулеметному обстрелу и не видели за 2 недели ни одного живого немца. Все зарылись в землю. Когда идут в наступление, то считается хорошим результатом, когда позиции передвигаются на 1 км. Как видишь, в тех местах, где немцы более или менее истощены, война все более принимает облик 1914—1918 гг., а она продлилась 4 с третью года! Увы!

От отца я получил 2 открытки, одну продовольственную (недели две тому назад) и одну вещевую посылку (вчера). Особенно кстати было то, что он догадался прислать мою "финскую" шинель. У нас шинелей еще не дают, а конец сентября сырой и холодный. Всякими теплыми вещами я теперь обеспечен. На днях пришла телеграмма из Алма-Аты, что Валя благополучно родила сына и находится под наблюдением профессора. Страшное несчастье случилось у Кара-Мурзы: он получил известие, что у него на фронте погибла жена, которая пошла в армию в качестве санитарки. Она умерла героически, подняв в атаку заколебавшийся было батальон. Ее посмертно представили к званию Героя Советского Союза<sup>23</sup>. Мурза вот уже четвертый день сам на себя не похож и открыто говорит, что от самоубийства его удерживает только война.

Меня поразила у него одна мысль. На мой совет отвлечься каким-нибудь делом он сказал: "Я знаю, что этим можно вылечиться, но это значит, что я намеренно буду стараться забыть ее. А этого я как раз не хочу. Что же делать?" И это говорит человек необычайно энергичный, главной чертой которого является честолюбие. Я и Оська Р.<sup>24</sup> утешаем его, как можем.

Кисуленька, я до сих пор не знаю, как ты проводишь время, чем занимаешься, какую вы с бабушкой установили хоз. конституцию? Каковы твои финансовые отношения с тетей Маней? Получила ли ты стипендию за вторую половину августа и первую половину сентября? Если будет задержка (что вероятно), то это объясняется тем, что нас не известили своевременно о том, что нужно представить справку о том, что мы — ополченцы. Мне интересно также, как ты питаешься, что есть в Саратове на рынках, доступны ли тебе цены? Кушай больше овощей [...] Крепко тебя целую, с нетерпением жду твоего письма, которое уже где-то спешит ко мне.

Крепко, крепко тебя целую, моя родная, хорошая.

*Твой Игрушка*

Целую родную тетю Маню и бабушку, а также Татку и тетю Шуру.

---

<sup>23</sup> Речь идет о Лие Канторович, студентке ИФЛИ.

<sup>24</sup> Иосиф Розенберг, аспирант истфака, погиб в октябре 1941 г.

**Offentliche Bekanntmachung**  
.....

Wegen Sabotage und Spionage wurden heute  
der ehemalige Rotarmist

Jgar Ssawkow, aus Moskau,

Eduard Solowjow, aus Rshew,

Nikolai Loschakow, aus Rshew,

Wassili Schidikow, aus Rshew

erschossen. Die Hingerichteten sind durch ihr  
Geständnis und durch Dokumente, die bei ihnen  
vorgefunden wurden, überführt.

Durch die Vernichtung dieser im Entstehen  
begriffenen Bande konnte die Stadt und  
Bevölkerung von Rshew vor schwerem Schaden  
bewahrt werden.

Der Befehlshaber der  
deutschen Wehrmacht



den 1. Juni 1942.

**Объявление!**  
.....

Уличенные в саботаже и шпионаже бывший  
красноармеец

Игорь Савков из Москвы

и его соучастники:

Эдуард Соловьев из Ржева,

Николай Ложаков из Ржева,

Василий Жидиков из Ржева

сегодня расстреляны.

Вина казненных доказана найденными при  
них документами, а равно и их собственными  
признаниями.

Истреблением этой банды гор. Ржеву и его  
населению отвергнута большая опасность

Командующий германскими  
войсками



1 июня 1942 г.

## АЛЕКСАНДР ОСПОВАТ

*17 ноября 1939 г.<sup>25</sup>*

Дорогой Левка!

Полагаю, что нет нужды повторять все то, что я пишу маме. Тем более что ты все равно все прочитаешь. Я в этой твоей привычке убедился без труда. Ты позволяешь себе непозволительные, если каламбурить, замечания, "врываешься" в "мою личную жизнь", проявляешь слишком бурную осведомленность и т.д. Все это — плод изучения моих писем к маме. Ладно, бог простит! Это я полушутя. Не обижайся. Перейдем к специфике. Знаю, что тобой был сделан отменный доклад о Лермонтове. По отзыву некоторых, впрочем, пристрастных лиц, такой доклад можно было прочитать и в другой, внешкольной, аудитории. Тем более. От души поздравляю. Главное, бодрость и самоуверенность. Ты ни тем ни этим не обижен. Твой тон в телефонном разговоре свидетельствует об этом. Прекрасно!

Что твои планы?

Школу все же надо кончить отличником, а не ударником. Тебе ж это ничего не стоит. Как говорят, тебе честь, а маме удовольствие. Аттестаты отличников, надо полагать, будут действительны и после службы в армии.

Еще о стихах. Не обижайся, но стихи не твоя стихия. Есть острые места, и только. А искры нет. Все раздражительно, все сочинено, ни капли творчества, вдохновения. Не сердись. Пиши лучше пародии. Я уже давно тебе писал, что все это у тебя несерьезно, не от души, а так, забава. Брось!

И романтику свою надуманную брось. Тем более что ею ты склонен называть (и оправдывать!) лень и беспечность. Дел вообще хоть отбавляй. А ты начинаешь наивно восторгаться именно тем, что надо осмеивать: праздностью, сентиментальностью и прочими "романтическими" качествами, которые я из себя еще не окончательно вышиб, но вышибу непременно.

---

<sup>25</sup> Письмо адресовано брату, Льву Осповату (В.Б.).

Именно так я провел сентябрь — в том, что ты называешь романтикой. Да, да. Главное — это именно доклады, конспекты, книги, языки и проч., т.е. попросту наука, образование и самообразование. А все остальное потом.

Кстати, и чтение надо подчинить этому — эстетическому, если хочешь, образованию. Но я вовсе не отрицаю наслаждения всякого рода. Не педанта и не Вертера надо из себя воспитывать, а эрудита, типа Брюсова, что ли. Если не читал о нем ты книжки Ашукина и его дневников, то прочти. Вот был человек!

Я не поучаю, я делюсь мнениями. Напиши об этом и вообще обо всем.

Целую, Саша

**21 июля 1941 г.**

*Дорогая Веруська!*<sup>26</sup>

Внезапно мы снялись с места, где уже обосновались, понастроили шалашей и проч. Совершили пеший поход в 45—50 км и сейчас прибыли, кажется, на новую постоянную квартиру, адрес которой пока неизвестен. Было довольно трудно шагать с тяжелым рюкзаком, винтовкой, в форменных ботинках с обмотками. Кое-кто отстал, кое-кто натер ноги. Янька, например, "человек-мозоль". Однако в основном справились хорошо. Муська, как всегда, блистал благородством: нес мешки и винтовки слабых, подтягивал, идя сзади, отстающих и т.д. Сейчас он дрыхнет. С другой стороны, от него Косолапов, Ольшанский, Игорь, который к всеобщей радости вернулся к нам накануне переезда. Из наших здесь нет Зотова, заболевшего еще раньше, и Демидова с Янькой, догоняющих нас на машине. Это очень хорошо, что так много своих. И одно подразделение целиком состоит, например, из пятикурсников-историков. Выдали обмундирование. Вид мой в нем — слаб явно. Галифе, гимнастерка, и обмотки — не мой фасон. Может быть,

---

<sup>26</sup> Письма адресованы Вере Кутейшиковой, за исключением тех, адресат которых — однокурсник Борис Святский, а также письма родным и довоенного послания Льву.

пилотка, которую получу сегодня, изменит что-нибудь. Зато Муська роскошен. Он кланяется тебе. Вечером он напишет Мимише. Мы сегодня живем с удобствами, в просторной избе, имея под собой превосходный ровный пол; побрившись, умывшись, потрепавшись, отдыхаем. В шалашах было менее комфортабельно. Последнюю ночь случился дождь, и мы сладко спали в воде, которая так и лила через крышу шалаша. Однако Муська до сих пор пахнет (неразб.) плесенью. Вообще же очень поздоровели, окрепли. Чувствую себя так, как никогда. Последние километры марша шел уже значительно лучше первых. Теперь — никакой усталости, выспался ночью на земле, на деревенской улице. Судя по тому, что видишь здесь, догадываешься, что у вас должно быть много дела. Как здоровье, Веруся? Общий вид? Загорела? Пленила ли, наконец, хромого Гинзбурга? Есть ли достойные поклонники из туземцев? Я ни черта не знаю, до сих пор не имею от тебя ни строчки [...] Я не могу написать всего, что хотел бы, милая! Пока письмо дойдет до тебя, его, по необходимости, будут читать многие. Таков правильный закон военного времени. Поэтому не сердись, не найдя здесь всего того, что было в звенигородских письмах. Целую и люблю. Саша.

### **Не раньше августа 1941 г.**

*Дорогой Святский!* Начну с умолчания о том, что мне непонятно, почему я не написал тебе до сих пор. Бывает. Поздравляю с исцелением от недуга, не столь злого, сколь назойливого. Знаю, что ты уже совсем здоров. Когда вступаешь в ряды и каковы вообще перспективы на этот счет? Академия, училище, рядовым по призыву, а может быть, к нам, в славный дивизион резервного фронта? Как хотелось бы - быть теперь вместе! Здесь имеем подчас дружный коллектив V курса, особенно когда приходит кому-нибудь посылка. Савков тогда подобен члену раннехристианской общины — все общее! Посылка, разумеется, принадлежит в этом случае не ему. Впрочем, это так — для злословия.

Живем все дружно, хорошо. Хожу под Пинусом. Прямой и непосредственный. Гинзбург подобен ему, но

я ему не подчинен. Наводчик я, ибо зрячий. Это редкая ценность. Успешно заполняем день напряженной, как говорят, учебой, едой из супов, отчего выбегаем *minimum* три раза.

Огрубели. Физиология довлеет.

Но машина уходит. Привет Миночке. Очень хочется всех видеть.

P.S. Где твои?

*Осват*

**21 августа 1941 г.**

*Дорогие мои!*<sup>27</sup>

Возможно, что вы давно уже ничего не получали от меня. Я старался известить о себе через Москву; это, наверное, получилось скорее, чем прямыми письмами. Надеюсь, что и это письмо опустит едуший в Москву товарищ. Времени уже немало прошло с тех пор, что мы разговаривали по телефону, и совершилось так много важного, но многого тем не менее о себе не напишешь.

Я чувствую себя превосходно, несмотря на непривычный образ жизни. Мы все еще учимся в совершенно безопасной обстановке. Тяжелая физическая работа, малый сон, отсутствие всяких удобств — все это переносится пока прекрасно. Но впереди, конечно, испытания посерьезнее. Сейчас небольшой перерыв, лежу вот на траве подле своей палатки, думаю, как всегда, о вас [...]

Я чувствую себя бодрым не только физически. Робости перед предстоящими, конечно, событиями не ощущаю. Дело артиллериста, которое я изучаю, мне нравится. Мне поручена ответственная работа наводчика. Постараюсь достойно справиться с ней. Вокруг меня однокурсники и вообще истфаковцы. Дружный коллектив, спаянный стародавними связями. Это очень важно быть со своими в такие дни. Из знакомых вам хотя бы понаслышке могу назвать Мусю (Гинзбурга), ошибочно принимаемого мамой за подругу Святского. Если Верочка действительно окажется в Хабаровске (по путевке Наркомпроса, как все неожиданно), то она, наверное,

---

<sup>27</sup> Письмо матери и брату, жившим в Хабаровске.

сумеет сообщить еще что-нибудь обо мне. Вы ее под-  
держите морально на первых порах. Я с ней толком и не  
простился. Еще раз прошу: обо мне не беспокойтесь [...]

**Август 1941 г.**

*Дорогая Веруська!*

Был бы бесконечно рад, получив твои письма. Как  
приятно было читать твои нежные строчки.

Новости, действительно, ошеломляющие. Столько  
совпадений. Это прекрасно, что ты поедешь к маме. Бу-  
дешь как дома. И ей будет легче. Но, может быть, уже  
изменилось что-нибудь? Как бы я хотел тебя проводить,  
расцеловать. Приехать мне нельзя, увы. Каким поездом  
ты едешь? Надо бы только курьерским (№2), но вряд ли  
это удалось. Теперь придется расстаться, милая, надолго,  
быть может. Но мы свидимся, обязательно свидимся. В  
Хабаровске найдешь много настоящей полезной работы  
помимо Ришелье. Жаль твоих маму и папу. Останутся  
одни. Моя мама будет рада тебе необыкновенно. Даже  
трудно представить, что возможно такое стечение обсто-  
ятельств. Я не пишу писем для мамы, ты все расска-  
жешь. А мне уже некогда. Зовут. Крепко целую.

Твой навсегда

*Саша*

P.S. Никаких советов и прочего не надо. Чувствуй  
себя у наших как дома.

**Без даты, не раньше 27 августа 1941 г.**

Вот у меня снова выдалось несколько свободных  
минут и мне хочется сказать самое главное, что как-то  
по-дурацки не успевал в прежних сумбурных и спешных  
письмах. Я люблю тебя бесконечно, милая! Я проклинаяю  
наши глупые ссоры и размолвки, свою неуживчивость,  
свою грубость. Я вспоминаю твои чудные глаза, улыбку,  
кокетливую косынку. На днях, когда я ночью стоял на  
дежурстве, я как-то особенно остро почувствовал, как  
мне тебя не хватает. А ты уезжаешь сейчас одна, такая

еще неопытная и непривыкшая к встряскам. Тебе, наверное, очень грустно оставлять своих, Москву. Я все время думаю об этом, но не могу толком выразить, как мне хочется, чтобы ты была бодрой и веселой [...] Как у тебя с деньгами? Как бы то ни было, еще раз прошу, возьми на дорогу мой гонорар из Ленинской. Прошу как мужчина мужчину. А мы отвыкли от нашего старого веселого, пошлого языка и стиля. Главное же, Веруська, не волнуйся и не трусь. Работать ты будешь, конечно, не в крае или области, а в самом Хабаровске. Там безусловно нужны преподаватели и для Пединститута, не говоря уже о школах. Найдется работа и в связи с общей твоей интеллигентностью: языками и проч. Мама, конечно, тебе поможет во всех отношениях. Я думаю, что ты можешь на нее опереться как на своего, родного человека. В старое время я бы нахально сказал, что она будет рада тебе как счастью своего сына, как живому напоминанию обо мне. Но я ежеминутно чувствую, как становлюсь все суше, проще, грубее. Теперь не до своеобразия стиля.

Меня беспокоит другое. Я отказывался об этом думать, но от этого уйти нельзя. Ситуация на Дальнем Востоке обостряется. Факты общеизвестны. Мне нехорошо делается при мысли, что те, которые близки мне, сразу все оказываются в такой обстановке. Назначение отца совсем разволновало меня<sup>28</sup>. Это явно развертывание сети госпиталей военного времени. Пиши мне, Верусенька, как можно чаще. Условься на истфаке с кем-нибудь, чтобы осуществлять транзитную, так сказать, связь [...] На самом деле я еще беспредельно долго могу пребывать в этой мирной учебной обстановке. Меня это не радует —ожидание неизвестности томительно, но маму это будет подбадривать. О себе сказать нечего. Живем хорошо. Привыкаем стрелять из пушек. Получается пока неплохо. Между прочим, за последнюю стрельбу пушки, которыми командует Гинзбург и Пинус, вышли на первое место по дивизиону. Я хожу под Пинусом и как наводчик получил личную благодарность от командира батареи.

---

<sup>28</sup> Отец Александра Осповата, Борис Львович Осповат, известный хирург Боткинской больницы в Москве, был направлен военврачом в Амурскую флотилию.

Преисполнен гордыни. Передай это маме. Ей будет приятно [...]

Я что-то расписался, а между тем, надо чистить "боевую ось". Товарищ (В. Дунаевский с III курса) уже торопит меня. Есть у меня одно желание — чтоб ты снялась перед отъездом и как-нибудь переправила карточку. Она воссоздаст более современный облик, чем та, что у меня теперь. Я люблю это коричневое пальто и берет, но, впрочем, как тебе удобнее. Счастливого пути, дорогая моя!

Пара дорожных романов с лейтенантами освежат тебя. Не обижайся, Веруська, на эти пережитки [...]

Целую, Саша.

**5 сентября 1941 г.**

*Дорогой Святский!* Твое грустное письмо от 24 августа каким-то чудом дошло до нас. Чудом, ибо не с okazji. Сомнительно, чтобы ответ застал тебя. Расстояние между нами увеличилось. Мы мощнее, конституируемся, встаем на ноги, а посему пуповина, т. сказать, связующая нас с истфаком, слабеет. Оказии будут единичны, нам неведомы. Употребим почту — и через 2 недели это письмо будет лежать под дверью твоей одинокой комнаты. Превратность судеб! Другое. Ты бы чувствовал у нас себя отлично по причине своего алтайского опыта. Иное дело Пинус и Гинзбург, которым предстоит вскоре воссесть. Я буду скромно отбивать на передке. Пока мы после небольшого рывка вперед сидим в отличных землянках, сработанных не нами. Продолжаем совершенствоваться, надуваться супом, ждать настоящего дела, тосковать по близким и друзьям.

Гинзбург, лучше зная обо всем, отпишет тебе об эфемерных возможностях присоединения к нам. Выражаясь языком Верочки, это было бы чудно [...]. Кстати. Чем Иркутск лучше Хабаровска? Более того, он хуже хотя бы потому, что там не будет ни одного знакомого человека. В Хабаровске же прочная опора в лице моих. Существенный недостаток пребывания там — чреватость всякими неожиданностями.

Что Хаскелис? Уехала ли она в Красноярск? Зачем это? Вчера, начав писать, имел я настроение иное, чем сейчас, когда пресыщен супом, подгоняем Гинзбургом, отвлекаем Пинусом для изучения матчасти. Будь здоров и счастлив, балуй письмами, сообщи об общих знакомых. Хотелось бы побеседовать о многом. Мы практикуем это удивительно редко здесь. Еще раз скажу — тебя не хватает, друже! Удерживаюсь от сентиментов. Предан. Помню. Целую.

*Основат*

### **6 сентября (Приписка М. Гинзбурга)**

*Дорогой Борька!*

Настроение у тебя гнусное. Помни, жизнь прекрасна. Пришел ужин, и я должен отправить письмо. Сашка написал обо всем. Пойди в партком МГУ или в райком комсомола — к Араксе [Захарьян] — может, она устроит тебя к нам — а нам теперь нужны будут люди — к лошадям. Не грусти, дорогой, — встретимся все, поговорим за жизнь. Где твои? Как Минка? Всего хорошего.

Твой Муська

### **23 сентября 1941 г. (Последнее письмо)**

Это очень тоскливо — не получать от тебя ни строчки уже в течение трех недель. Тщетно ожидал открыток с дороги. Удивляюсь, что из Москвы никто не известил меня о твоём приезде в Хабаровск. Быть может, рано? Как ты доехала, хорошая моя, как встретили, как устроилась — ничего не знаю. Без вопросов знаю, ты обо всем напишешь. Начинается какая-то новая жизнь, новая полоса. Как-то все пойдет? На работе, с людьми забываешься, не замечаешь. Хуже, когда остаешься один, где-нибудь на ночном дежурстве. Тут начинаешь "идеализировать", доставать фото или перечитывать старые письма. Зачем-то вспоминается московское. Погода последние дни благоприятствовала меланхолии. Пасмурно и холодно. Я рад, что уничтожил, не отослал свое вчерашнее письмо, навеянное этой погодой, и только.

Сегодня все в ином, радостном свете. Может быть, из-за солнца, а может быть, вообще, потому что иначе нельзя Нового о нашей жизни ничего не скажешь. Прочно намерены, кажется, здесь осесть. Обещают, что на всю зиму. Это совершенно безопасное и оттого достаточно скучноватое житье. Учимся и устраиваемся. Соорудили нечто вроде печки в землянке. Отлично греет и светит. Дни проходят в основном в заботах "по хозяйству", достаточно однотипных. Это полный отдых интеллекту. За меня думает Пинус, и я счастлив. Два раза разговаривали на профессиональные темы. Пустое. Даже не сплетничаем, и что совсем приятно — почти не переругиваемся. Все это понятно. Мысли заняты одним — главным для всех. Нет желания читать что-либо, кроме газеты. Я не мог бы взяться сейчас за какую-нибудь книжку постороннего содержания. Наибольшая трудность, которую мне пришлось преодолеть за это время, — это доклад, сделанный мной для бойцов батареи в день МЮДа. Ни разу не чувствовал себя так паршиво. Это было хуже, чем пройти 50 км с рюкзаком. Сошло, однако, удачно, был пафос и подъем. Тот день был вообще веселым. Неплохо работали у пушки и заняли на полковых соревнованиях первое место. Получил две личные благодарности — от командования батареей и от командира полка. Вечером того дня побаловались концертом. Был между прочим (неразб.). С тех пор затишье. Встряхнулись (неразб.) на стрельбе. Забавное дело тащить по грязи пушку на руках. Днепр в наших местах поразительно узок. Мы видели его. Но это опять-таки не значит, что мы близко к фронту. Хорошо еще получать газеты. Они доходят на второй день. Как всегда, приходится торопиться — машина отходит. Прости за бессвязную чепуху. Хотел написать еще маме, но не успел. Да и зачем теперь писать отдельно? Что с Левкой? Как папа? Каждый из вас может писать хотя бы по одному письму в неделю — и мне будет много спокойней и веселее. Я написал твоим. Написал Татьяне Мир[оновне]. Полагаю, что она мне пришлет то немногое, что необходимо и о чем я прошу. Вы ни о чем не беспокойтесь. Хотелось написать и больше, и иначе, но не вышло. Сух я стал и огрубел: прости, дорогая!

Я буду счастлив, если ты не будешь скучать и изредка писать мне. Нежно целую тебя.

Саша

### ***Б. Святский. САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ***

Саша был самый близкий, самый первый друг моей юности. Мы с ним проучились вместе с 8-го класса до окончания университета. Вместе выбирали, куда пойти учиться, за ним, конечно, я потянулся на истфак. Я вообще за ним тянулся, хотя, конечно же, не дотягивался: он превосходил меня и умом, и характером, и способностями, и усидчивостью, отличался большой целеустремленностью, честолюбием — всем тем, что рано сформировало в нем еще в студенческие годы ученого, способного сказать свое слово в науке и, насколько позволили отпущенные ему сроки, сказавшего. Спустя много лет это авторитетно подтвердила академик М.В. Нечкина, у которой он работал в семинаре. В одной из своих работ о Чернышевском М.В. Нечкина сослалась на исследования А.Б. Осповата и дала ему высокую оценку. Курсовая работа Саши Осповата была отмечена наградой на университетском конкурсе студенческих работ.

Что я помню о фронтовой судьбе Саши? Мы с ним оказались разлученными сразу же, в первые дни войны. Я вместе с большинством ребят из нашего курса попал на строительство оборонительных сооружений на дальних подступах к Москве. Сашу же как одного из самых лучших комсомольцев отобрали для службы в университетском ополчении. Некоторое время — до того, как ополчение вступило в бой (об этом не мне рассказывать, судьба университетского ополчения в какой-то степени известна), — я получал от него письма. Он писал о сложившемся в период подготовки ополчения быте (почему-то запомнилась мне ироническая фраза: "что-то вроде плохого санатория со странным меню из супов"), рассказывал об общих друзьях и знакомых, звал к себе — просись, мол, через райком комсомола. Я очень хотел к ним, к друзьям, что были в ополчении. И, когда я вернулся по болезни "с окопов" в Москву (перенес операцию), то предпринял — уже в конце сентября —

соответствующие попытки. Ополчение было разбито раньше, чем я туда попал. От нашего студента Бориса Косолапова (ныне работает в Главной редакции и восточной литературы издательства "Наука"), бывшего участником ополчения, я слышал следующее об обстоятельствах гибели Саши. Немцы уже разбили ополченцев. Группа их пробиралась по немецким тылам к своим. Возле какой-то деревни Сашу с еще одним истфаковцем<sup>29</sup> назначили в разведку. Пройти в деревню (приблизиться), определить, имеются ли в ней немцы. Разведчики должны были вернуться к концу дня в то место, откуда их послали. Увы, они не вернулись. Их прождали какое-то время, затем пошли, не дождавшись, далее на восток...

Борис Святский

---

<sup>29</sup> Теперь известно, что напарником Саши был студент 2-го курса истфака Юрий Фридман.

**Не раньше октября 1942г.**

*Дорогая Верочка<sup>31</sup>.*

Я уже давно собирался написать тебе, чтобы задать те же безутешные вопросы, но еще давно узнал от Бориса, что ты знаешь едва ли не меньше моего. Хотел писать тебе раньше, когда еще сам верил в возможность благоприятного исхода, но потом не нашел в себе смелости. Ведь я знаю, как бесконечно твое горе. Я не хочу расстраивать тебя после того, как Леля окончательно разрушила мои надежды, сообщив, что погиб Ося Босин. Я как-то особенно почувствовал отделяющую нас от счастливых лет университетской жизни пропасть. Саша, Муся, Ося, Лева Сечан, а теперь страшное трехмесячное молчание милого Вали [Вайсмана]. Этого достаточно. Я уже не говорю о тех более далеких, но дорогих товарищах по истфаку, каких десятки ушли навсегда.

Милая Верочка, второй год идет война, много уже прошло времени с того дня, когда мы, возбужденные, радостные, пришли в школу на Красной Пресне, чтобы начать новую неведомую жизнь. И хотя из 16 месяцев только три мы были вместе, я ни на один час не могу забыть те дни, когда мы жили в нашей батарее — Саша, Муся, Илья, Борис, многие еще славные ребята. Никогда не забуду я свой расчет, где наводчиком был наш Саша [Осповат]. Эти месяцы нас спаяли. На истфаке мы часто спорили, ругались, злились, а в батарее, наоборот, у нас с Сашей было какое-то особенно полное единодушие. Он как-то совсем преобразился в армии, наш Саша. Л не знал никого, кто был бы так глубоко предан нашему делу, кто был бы так готов к самопожертвованию, кто так сознательно рвался к делу, не желая отсиживаться за

---

<sup>30</sup> В первом издании письма Яна Пинуса сестре были выделены отдельно и опубликованы в конце книги. В этом издании все письма опубликованы в одном разделе, но с сохранением подзаголовка «Из писем Яна Пинуса сестре» (В.Б.).

<sup>31</sup> Первое письмо адресовано Вере Кутейшиковой, второе — однокурснице Ирине Рахмановой, третье и четвертое — однокурснику Борису Косолапову. Письма Яна сестре см. ниже.

"чужими спинами. И когда мы попали в передовую в те, увы, короткие дни и часы, когда мы могли дружно воплотить свою ненависть к врагу в горячую лаву огня, он показал себя. Он был смел, спокоен и даже весел. Нашим несчастьем было то, что нас бросили в бой в самый трудный момент. Нужен был опыт, обстрелянность, стойкость, особенно нашей пехоте.

Во время отхода Саша был со мною. Мы все держались рядом. Но вечером наш командир (наш общий любимец) вызвал несколько человек, чтобы маленькой группой искать выход из окружения. Пошел Лева Страховенко<sup>32</sup>, которого мы полюбили и оценили на батарее; еще четверо ребят, в том числе и я. Саша оставался с большинством. Я никак не мог думать, что нам больше не придется увидаться. Когда мы вырвались к своим — стали подходить наши одиночки и группы. В числе вырвавшихся был Муся. Ему пришлось искупаться в Угре и его била лихорадка. Прямо с переднего края мы его направили на санмашину. Уехала ли она? Никто этого не знает. Через какой-нибудь час мы попали под сильный удар немецких бомбардировщиков. Отходили. Здесь я видел Илью Ольшанского (маленького совсем). Однако все это было только началом. Когда мы, двигаясь с отходящими частями, добрались до Вязьмы (я был уже с небольшой группой из нашего полка), мы снова попали в окружение. Из этого я уже выбирался около двух недель. Прошел по занятым немцами районам около 300 км и 19 октября вышел в Дорохове. Как уже узнал я позже, выйти удалось немногим из наших ребят. Борис Косолапов, остававшийся с Сашей после моего ухода, вышел и был в Москве. Но мне никак не удавалось напасть на его след. Илья, несмотря на то, что из передовой вырвался, затем уже, будучи в большом окружении, попал в плен. Теперь он бежал и находится в армии. Я просил Илью написать, не слышал ли он что-либо о Саше, Мусе и других. Где Косолапов, не пыталась ли ты списаться с ними?

Вообще, что тебе удавалось и от кого узнать? Меня интересуют все подробности. Они могут иногда помочь. Верочка, страшно обидно, что такие люди, как Саша,

---

<sup>32</sup> Лев Страховенко окончил в 1941 году 4-й курс истфака. Погиб.

полный воли и сил, не смогли принести большую пользу нашему делу. Я никогда не забуду нашей батареи, которая до сих пор мне кажется родным домом. Вспоминаю нашу землянку близ Днепра, где до поздней ночи мы пели песни, шумели, смеялись, вспоминали своих общих друзей, а по ночам, уединяясь, писали письма. Обо всем этом ты, наверное, знала.

Верочка, и на нашей улице будет праздник. Мы еще будем жить и работать — особенно бесспорно это относительно тебя. И кто знает, всякое бывает, особенно во время войны. Может быть, найдется и Саша, чтобы жить и работать с нами.

**29 июня 1942 г.**

*Здравствуй, Ира!*

Давно отправил тебе открытку, на кот[орую] ответ так и не получил. Очень хочу узнать о Яше, да и не только я, но и все ребята наши, а также и [о] тебе. Как ваши дела? Где сейчас Яша? Кем работает? Что рассказывает о своей работе в письмах? Напишу тебе обо всех ребятах, о кото[рых] имел сведения. Начну с самых близких тебе. Циля по-прежнему в кировском госпитале вместе с Марой Гвоздовер, Полонской др. истфаковцами, работает и рвется на фронт. Родя учительствует в Усть-Джегута Карачаевской ССР. Миша Гефтер, Ю. Маслеников и Штейнбук после ранения вернулись в части. С.Шапиро санинструктор в части. Святский и Сонин кончили курсы воен[ных] переводчиков и теперь в парашютно-десантной части (имеют по прыжку), готовятся к будущим делам. В Ташкенте в училище Брегер и Цветков. Там же живет Н. Балакина. Муж ее уже 10 месяцев не пишет, а у нее маленький и больная мать...

В Сибири учительствуют Беленькие, Скворцовы, Старостины и Ремезов. Ося Босин кончил Юрид. академию и отправился работать на Юго-Западный фронт. Квастель десятник (?) в Ташкенте. Валька В. и Мотька П. в армии, пока в тылу. Тартаковский где-то старший политрук. Вейцман в тылу, но... политрук в части. Адлер скучает в Новосибирске. Леля Горелик работает в куйбышевском госпитале. Рабинович в Москве зав. библио-

текой им. Горького. Миллер — переводчик штаба дивизии на С.-З. фронте. Менделевич был где-то в школе лейтенантов. Вот то, что мне известно от ребят. На тебя Циля в обиде, что не пишешь ей (Киров, обл., почт. ящик 227). Я тоже буду в обиде, если не ответишь. Судьба Левы Сечана, Осповата, Муси, Игоря, а также Яшунского, Корчного<sup>33</sup> и многих других пропавших в окружении в памятном мне октябре все еще не известна (о Леве ничего не известно с июля, когда он был под Киевом). Печально и страшно об этом думать. Трагически погибли на фронтах Лиза Шамшикова, Руня Розенберг, М. Поляк<sup>34</sup>. Погиб Зоркий; Ольшанский, пишут ребята, бежал из плена (неразб.). Наши истфаковские учителя в Ашхабаде и Ташкенте. Обо мне ты, если только хотела, могла получить исчерпывающие сведения от наших. Полк наш уже ровно два месяца (как раз сегодня) гвардейский и все время стоит на передовой и участвует, судя по оценке командования, удачно в боях. Относительно у нас тихо. Все мысли — о 1942 году, о втором фронте, о победе. Только бы скорей. Пиши обязательно Циле. Привет Августе Ивановне. Будь здорова. С гвардейским приветом.

Яня

**27 февраля 1943 г.**

*Дорогой Борис.* Страшно рад был получить твою открытку. В 41 году я тщетно пытался тебя разыскать, и вдруг такая удача. Жаль, что ты так кратко написал о себе и обо всем, что знаешь. Ведь из всех наших друзей только Илья отыскан после злополучного октября. Он мне писал все то, что ты узнал и от Моги. Однако Илья не был с ребятами до конца, тогда как ты оставался с Сашей и другими. Очень прошу рассказать мне подробности обо всем. Страшно обидно за всех наших лучших дорогих друзей — Сашу, Мусю, Осю, Леву и, увы, многих других.

---

<sup>33</sup> Михаил Корчной и Юрий Яшунский — выпускники истфака 1939 — 1940 годов, погибли в ополчении.

<sup>34</sup> Рувим Розенберг, брат Иосифа Розенберга, и Михаил Поляк — до войны окончили 4-й курс истфака.

О себе рассказывать долго не буду, так как Мотьяка ввел тебя, вероятно, в курс. Бесперывно нахожусь на фронте, в тех же краях, что и прежде. Был в истребительном отряде (несколько раз ходил в разведку на передовую), а затем прибыл в свою, теперь уже совсем свою, часть [...]. Попадал уже в разные перепалки и переделки. Последнее время у нас очень сложная и серьезная обстановка. Времени писать особенно подробно сейчас нет. Специальность у меня осталась старая, хоть и значительно потяжелела. Погоны со звездочкой еще не получил. Ты имеешь письма от Мильки? Не от Бакста ли! Он мне писал из Сталинграда в июле. Где он? Судьба моего города мне достаточно известна. Словом, большая личная злоба у меня к фрицам. Живу бесперывно в лесах. Ни в одном городе с июля (вру, с января 42 г., когда взяли Можайск) не был. Пишут мне многие. Жаль только до слез, что многие никогда не напишут. Вот пока все вкратце. Пиши, дорогой Борис. Был ли на фронте? Как воевал? Тебе бы сюда. Ты ведь любишь драку, а сидишь в тылу. Имеешь ли звание? Должность? Будь здоров. Крепко обнимаю. Яня.

Получил очень грустное письмо от Верочки хабаровской. Часто ли видишь наших? Долго ли они думают сидеть в тылу? Прости за нескромность, Борис, где та девушка, что писала тебе? Это я по старой дружбе, а то ты и женишься — не напишешь. Прости солдата.

**2 апреля 1943 г.**

*Дорогой Борис!* Спасибо за скорый ответ. Еще раз (в какой уже раз!) вспомнил события трижды проклятого октября. Насчет Муси могу тебе добавить, что с Тютюником он добрался туда, где были мы (т.е. л-т Горячев, Страховенко, Давид Крейдель, я и др.)<sup>35</sup>. Пришел он больной. Его трясла малярия после купания в Угре. Сначала он лег с нами в цепь (мы были в боевом охранении), но потом его Страховенко повел к санитарной машине. Не знаю, успели ли его эвакуировать, т.к. через час все

---

<sup>35</sup> Лейтенант Горячев и Тютюник — офицеры в ополчении. Давид Крендель студент мехмата, погиб.

мы были очень далеко от этого места, а на другой день были уже под Вязьмой. Горячев был ранен в ногу. Ехал он потом с Ильей Ольшанским, т.к. Илья бежал из плена, то ясно, какие перипетии пришлось пройти им. Интересно, какой дорогой и с кем выбирался ты. Я выходил южнее Вязьмы. Последним из наших потерял Крейделя. Протопал до Дорохова (был там 19 числа). Когда был там ты? В последнем письме Абрам Сонин (он после легкого ранения в правую руку на Сталинградском фронте работает по нашей специальности при редакции армейской части на юге<sup>36</sup>) писал, что видел Кара-Мурзу, который работает где-то поблизости. Насчет моей знакомой, о которой ты не забыл. После октября мы с ней месяца три интенсивно переписывались. Затем начались перебои и к лету выдохлись окончательно. Трехдневное знакомство не выдержало трехмесячного испытания. Ведь это была чистая галлюцинация. Насчет твоей внутренней убежденности, Борис. Не знаю, можешь ли ты меня понять. Постепенно привыкаешь к тому, что люди безвозвратно уходят. Это встречаешь сейчас на каждом шагу. Поэтому я не тешу себя надеждами на спасение наших дорогих, замечательных друзей. Прошло уже полтора года... Неужели они не дали бы о себе знать? Сейчас я в двух шагах от мест, где были мы в те времена. Четыре месяца прошлого года вырвали партизаны с помощью гвардейских кавалеристов у немцев. Помнишь короткие прошлогодние сообщения? Здесь были многие из оставшихся в октябре. Однако борьба взяла большинство из них. Насчет того, что наши студенты на спешат сюда, я давно догадывался. Что говорить, здесь мало веселого [...] Напиши, Борис, изменил ли ты нашей божественной военной специальности. Из наших ребят мне пишет Борис Святский, недавно попавший (вернее, приближавшийся) к Северо-Западному фронту. Когда-то переписывался я с Цилей Ямпольской, которая работает в кировском госпитале (Лев Пospelов, очевидно, погиб). Получил летом письмо от Горелик. Она сообщила мне о гибели Оси и втором ранении Гефтера. Нет нашего уди-

---

<sup>36</sup> Выпускник истфака 1941 года. Военным переводчиком участвовал в Сталинградской битве, а по окончании ее — в написании, по горячим следам событий, истории своей армии. Погиб в 1943 году на Курской дуге.

вительно душевного, талантливом Босина. Нет многих других [...] Вот тебе короткий обзор моей корреспонденции. Сейчас наступила распутица. Закрепляемся на рубежах. Живем в прекрасной новой землянке, которую, увы, через денька два придется покинуть. Все здесь быстро меняется, особенно обстановка. Немец оставил нам гнусное наследство — заминированные дороги. Это доставляет много неприятностей, мягко выражаясь.

Борис, напиши о жизни. Штатная ли у тебя должность? Как проводишь свободное время? Есть ли интересные люди? (неразб.) Черт возьми, как хочется зажить настоящей жизнью.

Будь здоров, мой дорогой. Пиши.

*Крепко обнимаю тебя, Ян*

P.S. Целое происшествие с отправлением письма.

(Письмо залито чернилами.)

**21 февраля 1944 г.**

Родные мои, любимые!<sup>37</sup>

Что за день у меня был вчера!

Получил вечером два пакета от Баюкова с вложенной туда дюжиной писем — ваших, Сузиных, а также открытки Феди и Люки. Я их читаю и перечитываю. Буквально купаюсь в этом потоке дружбы, любви, доброты. Но я начну с другого. На днях у меня ум зашел за разум и я отправил поздравление тебе, мой родной<sup>38</sup>, с днем рождения, выдумав вдруг, что он в конце февраля, а не 1 февраля. Прости, мой дорогой, и не откажись принять лишнюю сотню добрых сердечных пожеланий, поцелуев и искренних объятий. С удовольствием читал твои мысли обо всем на свете. Ты прав как насчет Керзона<sup>39</sup>, так и насчет фронтовых пер-

---

<sup>37</sup> Письмо адресовано родителям.

<sup>38</sup> Обращение к отцу.

<sup>39</sup> Имеется, очевидно, в виду польский вопрос и проблема будущих послевоенных границ.

спектив, и я рад согласиться с тобой [...] Вся вторая страница моего сегодняшнего письма будет посвящена нашей имениннице.<sup>40</sup>

Любимая моя дочурка, Ирочка!

Твой Яня шлет тебе поздравление в день рождения и крепко, крепко целует (получишь от папы и мамы за меня).

Я получил твой цветочек и ношу его на груди на память о своей любимице — Ирусике. Будь здорова, моя хорошая, любимая девочка, веселись на праздник и не забывай своего Яню.

---

<sup>40</sup> Обращение к дочери сестры, которой исполнилось тогда шесть лет. Эта страница написана для неё крупными буквами.

### *Из писем Яна Пинуса сестре*

Этих писем за 1944-й год двадцать семь — первое датировано 17-м февраля, последнее — 14-м июля. В Сталинград, к родителям, письма шли и позже, самые последние пришли уже после гибели Яна.

За предшествующие годы письма сестре не сохранились. Сусанна Юльевна Пинус-Олтаржевская с конца августа 1942-го, когда она, чудом спасаясь во время бомбежки и переправы под огнем через Волгу на пароме с взрывчаткой, вступила в ряды армии, оказалась на время оторванной от брата. Условия же фронтовой жизни не способствовали сохранению писем и после восстановления связи.

К сожалению, не удалось пока найти письма Яна родителям. Единственное — от 21 февраля — ниже.

Из связки 44-го мы выбрали девятнадцать, хотя хотелось воспроизвести их все, даже самые будничные, отрывочные, обращенные к сугубо семейным делам.

Может показаться, что Ян не заглядывал дальше текущего дня. О том, что после, — скупые строки, слова надежды "без иллюзий".

Отчего же его голос столь явственен, так близок? Разгадка в согласии ли дум и речи, в непринужденности слова, одинаково чуждого и заимствованной патетике и безликой чувствительности, в ритме ли этих писем, их ровном, неостановимом, глубоком дыхании с редкими прорывами трудно сдерживаемой тоски и печали?

... В 44-м ему предлагали работу в военном училище, он не дал согласия. Нет, он не стремился — ни в жизни, ни в письмах — подытожить себя (и свое поколение). Это получилось у него само собою.

**17 февраля 1944 г.**

*Родная моя Сузенька!*

Я уже крепко надоел своему начклубу, требуя просмотреть очередную почту. Пока еще ничего не получил на свой резервный адрес. Уповаю на тебя. Порадуй весточкой к празднику, который, по всей видимости, проведу здесь, в пятнадцати километрах от Смоленска, в большой деревне. Впрочем, загадывать — безнадежное дело в нашей жизни, на которую сейчас никак не могу пожаловаться! Читаю. Будь здорова [...]

**26 февраля 1944 г.**

*Здравствуй, моя родная Сузенька!*

Я пишу эту открытку, сидя у окна своей хаты, когда на дворе ветер рвет и мечет, а на душе лежит камень. Как будто приперло меня к стене — ни повернуться, ни выдохнуть, давит проклятая тяжесть. Тоска одолела. Я думаю, тебе не трудно меня понять. Знаю, что пройдут часы и рассеется этот туман тоски, пройдет боль щемящая, нудная, как зубная, но где-то в глубине она будет тлеть, не угасая никогда совсем.

Много ли нужно человеку? И мало, и много. Вот сейчас хочется многого, о чем забываешь порой, затерянный в глуши, скуке, мелочной суете. Аминь.

Жив еще курилка.

У меня произошла любопытная встреча с одним литературоведом, неким к[апита]ном Аникстом, читавшим после Шиллера у вас западно-европейскую литературу.

Помнишь ли такого? Я пишу много, надеюсь, что мои старанья будут вознаграждены всеми вами. Жду от тебя первой писем на этот новый (уже старый) адрес. Диме мой привет<sup>41</sup>. Будь здорова, родная.

*Крепко целую. Яня*

---

<sup>41</sup> Муж сестры — архитектор Д.Г. Олтаржевский.

**1 марта 1944 г.**

*Родная моя Сузенька!*

Моя жизнь в резерве приобрела неожиданный интерес. После встречи с Аникстом, о кот[ором] я писал тебе, мы стали добрыми товарищами и теперь проводим много часов в совместных беседах. Конечно, я чаще в роли слушателя. Он очень образованный и интересный человек. Мы нашли много общих знакомых (разумеется, не личных), и с этого обычно начинаются наши беседы.

В остальном все у меня по-старому. Занимаюсь дома (избавился от школьной нуды). Читаю "Гете и Бетховен" Роллана. Жду ваши письма [...]

**19 марта 1944г.**

*Здравствуй, моя родная Сузенька!*

Случай снова свел меня со всеми старыми товарищами (и однополчанами). Мы живем близко друг от друга. Жуков объяснил мне, почему он не смог посетить тебя. Простить ему этого нельзя.

Все ребята живы-здоровы. Встретили меня очень приветливо. Посидишь часок и забудешь, что уезжал когда-либо...

Вот пока и все мои новости. Будь здорова, моя родная [...]

**28 марта 1944 г.**

*Здравствуй, моя родная!*

Только что закончил письмо домой с вложенной открыткой — картинкой для нашей Ирусеньки, теперь пишу тебе. Март кончается. Неожиданно в этих местах с каким-то противоестественным климатом установилась холодная погода. Живем тихо, спокойно. На передовой последние дни нашего пребывания было довольно шумно. Теперь это далеко. Перспективы хоть и мутны, но радужны. Успехи на Украине — ежедневная доза живительнейшего оптимизма [...].

Сейчас с грустью смотрел на тобой начертанный планик — дорогу к тебе на Демидовский и телефон<sup>42</sup>. С грустью, но и с тайной надеждой. В какой уже раз [...]

**19 апреля 1944 г.**

*Здравствуй, родная моя Сузенька!*

При всем желании я не могу писать вам так часто, как прежде. Не та почта, обстановка. Живем мы сейчас преотлично. Расположились в чистейших украинских хатках. Население мест на Западе очень радушно нас встречает. Оказалось, что объясняться с ними совсем просто. Другое дело поляки, но это еще впереди.

С первой недели марта я не получил ни одного письма.

Скучаю очень [...]

Первомай уже совсем близок. Возможно, встречу его еще здесь, где война только слышна, да и то не всегда. Тепло совсем, как у нас в Сталинграде в мае. Шинель даже не требуется.

Не беспокойся, родная, если мои письма будут приходить реже. Кроме всего прочего я теперь на более ответственной работе, да и на гораздо более боевой [...]

**3 мая 1944 г.**

*Родная моя Сузенька!*

Вот как я заработался — даже написать письмо времени не имею. Снова я на передовой, правда, еще не в боях. Праздник прошел неплохо. Немножко поспал и прекрасно пообедал в полузаброшенном домике одной чешской, редкой здесь на Украине, деревушки. Интересно, как вдали от родины сохраняется островок совершенно своеобразный.

Здоров я вполне. Время идет быстро. Барометр неуклонно падает. Скоро грянет буря [...]

*Твой Ян*

---

<sup>42</sup> Местожительство С.Ю. Олтаржевской по возвращении в Москву; дом на Никольской, где жили она и Ян до войны, был разрушен авиабомбой.

**12 мая 1944 г.**

*Сузенька, родная!*

Получил твои апрельские письма. Все их существо для меня в одной строчке — родные наши больны. Мучительно жду писем ваших, верю, что судьба сбережет их, иначе к чему она берегла меня. Пиши, родная, чаще и откровеннее о наших [...] Поздравь Диму от меня с блистательной победой<sup>43</sup>.

**14 мая 1944 г.**

*Родная моя Сузенька!*

Спасибо за частые и подробные письма. Позднеапрельские письма из дома немного успокоили меня. Наши перенесли еще одно испытание судьбы. Она не может не хранить их, ибо в их жизни только и черпаю я свои силы и веру.

Занят я очень, Сузенька. Теперь ведь я комиссар. Это совсем не то, что быть "комсомольским боссом"<sup>44</sup>.

Живем неплохо. Привычное фронтовое существование [...]

**17 мая 1944 г.**

[...] У меня пока относительно тихо. Весна в разгаре. Тепло, цветет вишня. Красиво, оказывается, на Волыни. Только некогда любоваться и наслаждаться. Работа большая и ответственная.

Ребята меня совсем забыли. Только Зочка пишет да Наташа вспомнила недавно<sup>45</sup>. Надоела всем писанина. Только нам, когда не остается никого другого, она единственная отрада в это трудное время. Поэтому прошу тебя быть такой же аккуратной, как прежде [...]

---

<sup>43</sup> Успех на архитектурном конкурсе.

<sup>44</sup> Ян перешел с поста комсорга полка на должность заместителя командира батальона по политчасти.

<sup>45</sup> Друзья Яна школьных лет.

**26 мая 1944 г.**

*Славная моя Сузенька!*

Вот у нас совсем наладилась переписка [...] Сузя, мне как-то непонятно, почему все считают, что твоя жизнь как-то особенно тяжела. Знаю, как нелегко сейчас всем. Что же так мешает тебе? Работаем мы изо всех сил. Марши-ученья, рытье, оборона на передовой. Погоды стоят плохие. Пишу, сидя в маленьком соломенном шалашике. Идет непрерывный дождь [...]

**29 мая 1944 г.**

[...] Очень прошу тебя успокоить наших на мой счет. Особенно по поводу некоторой задержки моих писем. Она объясняется исключительно моей невероятной занятостью.

Ты пишешь о новых фильмах. Я вот уже в течение трех месяцев не видел даже единой старой. Писем получаю много из разных концов. Увы, мои корреспонденты не могут быть мною довольны. Совершенно не читаю ничего. Газеты в счет не идут. Была ли ты у жены Аникста? Он мне писал, что находится в Москве и, возможно, останется там. Искренне порадовался за него. Пишу на бюро<sup>46</sup>. Я тут как Фигаро. Будь здорова, моя родная [...]

**8 июня 1944 г.**

*Родная моя Сузенька!*

Пишу на рассвете. Удивительно по-мирному тихом. Мой товарищ шутит: "фрицевский скрипач (ты о нем, наверное, и не слыхала) вчера дал последнюю гастроль и уехал во Францию". Сколько надежд открыли эти дни перед каждым<sup>47</sup>. Однако трезвость прежде всего. Без иллюзий, как в былые времена без паники.

Бедная моя карта Европы, недавно не знавшая белого света, почернела и скоро совсем превратится в лохмотья. К чему приводит чрезмерный успех [...]

---

<sup>46</sup> Видимо, на заседании партбюро.

<sup>47</sup> Имеется в виду высадка союзников в Нормандии, открытие второго фронта.

**12 июня 1944 г.**

*Здравствуй, моя родная Сузенька!*

Сегодня имею исключительную возможность написать тебе большое письмо. Сажу на двухдневном семинаре, слушаю разных докладчиков, нередко скучаю. С удовольствием беседую по очереди со всеми моими друзьями, а прежде всего с тобой, моя родная. Как-то на днях, уединившись у окна, выходящего в сад, я перечел все последние письма — твои и наших любимых стариков. День был солнечный, совсем не по-фронтовому тихий. Невольно все мысли обращались к прошлому, неразрывно связанному с тобой, моя Сузенька. Каждая мелочь вызывает столько воспоминаний. (Далее три строки вычеркнуты военной цензурой.) Я не говорю об известных всем настроениях. Три таких года — не шутка. Очень уж хочется мне, Сузенька, чтобы [зачеркнуто] жизни. Об Ирочке я уже писал.

Вы лучше меня можете решить вопрос о ее будущем.

Если до конца войны Ируська останется у мамы, а это имеет смысл только в том случае, если нашим не тяжело ее воспитывать и содержать, то тебе нужно спокойно перенести еще несколько месяцев разлуки с твоей чудесной дочерью. Советовать со стороны очень трудно. До твоего приезда в Сталинград теперь уже осталось не так много времени. Там увидишь и решишь.

Представляю себе вашу радость. Федька Космолинский удивительно счастливый человек. Он опять получил отпуск и уехал к своей благоверной. А ведь он, кроме всего прочего, постоянно живет в исключительно легких условиях (на фронтовую мерку).

Как-то, Сузя, ты писала о том, что вы были на концерте Вертинского. Напиши, откуда это привидение возвратилось? Я, конечно, понимаю причину его успеха, но стать поклонником его жанра не смог бы. Расскажи, что у него за репертуар? Мне прислал письмо из Москвы Александр Абрамович Аникст [...] Мне бы очень хотелось, чтобы ты повидалась с этим интересным человеком, [он ] с таким дружеским откликом ко мне

относится. Сейчас он работает преподавателем английского языка в одном московском воен/ном/ училище. Искренне рад за него [...]

Я среди всех моих товарищей здесь выделяюсь годами, да и молодостью в партии. Заместители в большинстве народ солидный. Впрочем, солидность — качество относительное и многостороннее. На этом и кончу. Прости, дорогая, несносно скучный докладчик наваял сон и письмо получилось сонное.

Привет Диме, Эдельманам, Даше и ее ребятам. Где наш Гера?<sup>48</sup>

**18 июня 1944 г.**

*Родная моя Сузенька!*

Денька три не имел твоих писем и скучаю о них. Оказавшись на очень трудной и ответственной работе, не имея личных друзей, я особенно остро ощущаю всякое проявление внимания, или, наоборот, безразличия со стороны дорогих и близких. Я страшно многим обязан моим родным и тебе за нескончаемую любовь. Тех, кто забыл, не сужу. Бог с ними. Я не унываю. Наоборот, закаляюсь. Моя воля дойти до конца свой путь несгибаема. Тяжела солдатская слава, родная моя, но долг выше всего.

Крепко и нежно целую мою любимую Сузеньку. Привет Диме.

Яня

**21 июня 1944 г.**

*Родная моя Сузенька!*

Завтра — три года войны. Канун трехлетия я встречаю на самой тихой за все годы передовой. В поле роскошно. Все цветет. Яркие маки — как первомайские знамена, нежные васильки — память о моем августовском "романе" с Шурочкой, скромные ромашки. Лес шумит. Поют птицы. Пусть это затишье перед бурей, но это и тема, как говорят музыканты, победы. Мои узбеки

---

<sup>48</sup> Двоюродный брат Яна. После тяжелого ранения был демобилизован. В последнем письме (14.7.44) Ян пишет о нем: "...Герина жизнерадостность сослужит ему большую пользу; я боялся обратного".

поют свои песни. Они рады взятию Выборга, рады горячему солнцу и концу работы, сделанной умело. Цветы украшают винтовки... Только разрушенный дом перед нами напоминает о недалеких злодеях. Представь, мы видим друг друга (в оптику), да и простым глазом видим их лес. Они видят нас и молчат. Зверь боится движений, боится тратить силы. Он напуган, но все еще надеется уйти от ответственности. Это ему не позволят. Вот мои мысли накануне 22-го. Не так ли я думал в 41 г.?

**26 мая 1944 г.**

*Родная моя Сузенька!*

Привычка писать часто так укоренилась во мне, что я, кажется, буквально в состоянии писать верхом. Впрочем, последнее как раз неправдоподобно: несмотря на возможность, я не пытаюсь возобновить кавалерийские опыты а la 41 год. Живу быстрой суетливой жизнью. Передовая в своем обычном виде. Вдохновляюсь вместе со всеми успехами наших белорусских фронтов. Слава нашему молодому кумиру — Рокоссовскому. Пусть ведет. Пытаюсь представить себе салютующую Москву. Вы, наверное, уже привыкли видеть эту величественную картину. Каким же будет въезд победителей? Ведь он должен всех поразить (и даже привыкших не удивляться).

Впрочем, дорогая моя, это мимолетные мысли. Здесь же все проще, грубее, порой трагичнее. Настроение спокойной веры, без иллюзий [...]

**30 июня 1944 г.**

*Родная моя!*

Мне так хочется, чтобы ты уже встретила с нашими в Сталинграде, что я с неудовольствием надписываю твой московский адрес. Скорей уже поезжай к Ируське и напиши [...] Не пишу о событиях, веря, что будущее превзойдет наши мечты. Порадуемся тогда вместе, моя родная.

Итак, поезжай в Сталинград скорее, моя дорогая, и шли оттуда самое подробнейшее письмо.

Целую тебя крепко.

## ОНИ ДОГНАЛИ ДРУЗЕЙ

Еще три человека: Юрий Маслеников, Валентин Вайсман, Иосиф Босин. Для этого триптиха понадобился бы не жесткий графический рисунок, а, скорее всего, пастель. Тут ясность характеров и непреложность поступков как бы стесняются заявить о себе полным словом. "Скромность?" — спросили у подруги одного из трех. "Нет, — поправила она, — деликатность". "Нет нашего удивительно душевного талантливого Босина", — написал в одном из писем 1943-го Ян Пинус. Он нашел точное определение, применимое ко всем троим, как и ко многим, кто погиб раньше и кто пал позже.

Впрочем, как не знать, что ныне и эти слова из числа расхожих. И если мы не ищем им замены, то лишь потому, что убеждены: в отношении наших друзей слова эти на том месте, где нет нужды ни в котурнах, ни в приписках. Можно бы сказать, что их душевный талант был естественным и именно потому не всегда и не всеми замечаемым, но и это требует некоторого разъяснения. Что понимать здесь под талантом? Неужто их ненавязчивая заинтересованность в других людях, постоянно живущее в них желание поспособствовать доброму делу, эти их свойства, чуждые притом всякого афиширования и не ограниченные только ближними, а готовые распространиться дальше и дальше, в пределе своем на весь белый свет (и желтый, и черный, и оливковый...), — неужели качества эти являются особым даром? Если да (мы полагаем так), то, разумеется, дар этот лишь отчасти из тех, которые получают в наследство. Даже когда он есть у юных, у только начинающих жить, его нетрудно растерять без развития и испытаний. В испытания же входят и иллюзии, и поражения, и злые совместные ошибки. Но они же (они, они!) входят и в развитие, по крайней мере входили в него тогда. Или это еще один обман зрения, уловка памяти, строящей предание? А может, есть и высокая правда в этом предании?

...У Вали Вайсмана был дедушка, еврейский учитель жизни, который писал ему, маленькому, длинные

смешные и мудрые письма, научающие жить скромно и независимо, перемогая с достоинством удары судьбы; домашний же обиход мальчика на языке времени его детства следовало бы назвать "нэпманским" (он сам впоследствии так его именовал). Смерть отца, как и общий ход жизни, вскоре разрушили семейный очаг; любимую и ни с чем не сравнимую Одессу пришлось заменить на неблизкое северное Иваново, навсегда попрощавшись и с морем, и с прихотливой южной речью. Крушение? Ломка? Представьте себе — нет. Ибо Одесса — это, конечно же, не только Беня Крик, это еще и удивительная пестрота проявлений таланта и доброты, своенравия и уживчивости, это и сам Исаак Бабель. И даже внешне похожий на него, родственный и духом, и смыслом наш Валя — с той неразделимой смесью лирики и смешинки, застенчивости и ясности в каждом движении и поступке, с той неброской тонкостью, не чурающейся, однако, и "примитива", какие едва ли возможно передать словами; тут больше сказали бы еще не ушедшие из памяти мимолетные эпизоды, интонации, жесты... В Иваново он был лидером и любимцем сокурсников и сокурсниц. Когда удалось поменять тамошнюю комнату на жалкую каморку в полубараке на Шепелюгинской (давно уже нет этих домов вблизи "Серпа и Молота"), он свободно вписался в не очень чистый во многих отношениях мирок обитателей этого жилища, обратив свою любовь на крохотную соседскую девочку, спасая ее от дебошей и непроходящей ругани.

Описывать отношение к нему однокурсников излишне. Стоит, однако, признать, что мы, в большинстве напористые и удачливые, недооценивали его, мешая его уму (и характеру!) раскрыться как следует. Правда, на последнем курсе он показал, на что способен, — своей работой о Брестском мире, в которой использовал разнообразные источники, дав им свежее истолкование. Профессор Б.Е. Штейн оценил эту работу как выдающуюся. Но главное у Вали было впереди. Чем было бы это главное (главное его), сказать трудно не только потому, что он погиб. Затрудняет выразить это в более или менее достоверном предположении и его хрупкое, почти детское восприятие жизни как сцены без кулис (и если с режиссерами, то без суфлеров), и его внутренняя незащищен-

ность от лжи, когда она изъясняется на наречиях квази-правды (и полуправды!). К нему, вероятно, больше, чем к кому-либо другому из того поколения, применимы слова, какие персонаж Достоевского сказал о главном лице мышкинского романа: его отличала "врожденная неопытность" — материя, из которой человеческая природа создает пророков и легко забываемых рыцарей справедливости. В пророки Валя не попал бы, ему не хватало для этого уверенности в себе и праведной жесткости, но рыцарем справедливости он не только мог стать — он им был.

Он ни на минуту не сомневался, что Мир движется в единственно правильном направлении, движется нами и теми, кто с нами во всем солидарен. Но так полагали, по сути, мы все, однако редко кто обладал его тихой последовательностью, не знающей разницы между бытием и бытом. Если бы ему сказали воскресным утром 22-го июня, и даже позже, и даже накануне гибели, что его звездный час близок, он бы вышутил это как чистой воды литературщину. Он не только не был воинственным, об этом нечего и говорить, но и ненависть, без которой человек с ружьем не может сразить иного, пришла к нему непросто... В один из первых дней войны ватага друзей-выпускников собралась в кафе-мороженом на улице Горького. Они прощались, шутя, и предлагали на выбор варианты будущей послепобедной встречи; затем все подряд расписались на картонной тарелочке. Сомнений, кому вручить ее на хранение, быть не могло. Конечно же, Вальке, ведь почти двузначное число диоптрий делало его белобилетником и на самые грозные времена, но он принял на сей счет собственное решение, когда разразилась катастрофа 1942 года.

Не уцелело, к несчастью, его письмо к другу, где он подводит итог жизни до своего Рубикона ("полувоспоминание о прошедшем, полусамоанализ в духе интеллигентского психоложества" — так он сам реферирует его для другого адресата). Но не верьте ему — и намек на "психоложество", на игру в сложность, в посыпание головы словесным пеплом вы не нашли бы ни в том письме, ни в любом другом им написанном. Не то чтобы он не знал соответствующих выражений, он просто брезговал употреблять их... Рвался ли он навстречу брату и

друзьям — мертвым и еще живым? Да, само собою. Но не только с ними искал он встречи. Пожалуй, к этому сроку он не отличал их от всех — в том буквально смысле, какой придала слову "все" война. Его изнуряли "похоронки", приходящие в далекую уральскую деревню, где он учительствовал. Его оскорбляли поражения. И он уже не мог передоверить расчет и расправу с фашизмом никому, кроме себя самого.

Командир роты автоматчиков, в рядах которой он прошел свой недолгий фронтовой путь, писал: "Вы можете гордиться своим товарищем". Мы и гордимся, хотя и не вполне о том речь; скорее даже — не гордимся, а утешаем себя, говоря: как бы худо ни складывались дела у людей, не безнадежны они (и дела и люди), пока может повториться Валя. И пока может возобновиться Юра Маслеников, который в чем-то, притом решающем, совпадал с Валею, а в чем-то, и немаловажном, отличался от него.

Милый очкарик, всклоченный, со спадающей на лоб прядью волос, рыжим пушком на месте будущих усов и бороды, он был подобен молодому просветителю XIX века — и не только внешне. Вырос в семье учителя, получил хорошую подготовку, превосходно, по-московски, владел родной речью, филологом мог стать с тем же успехом, что и историком. И письма его отличаются и чистотой смысла, и изяществом слога. Энтузиаст по натуре, он легко включился в жизнь курса; ему не просто пришлась по душе послешкольная раскованность, он буквально купался в этом многозвучии сюжетов, исторических загадок и проблем, открывавшем разные возможности самостоятельного выбора — призвания внутри призвания.

Он избрал медиэвистику. Уже на втором курсе, занимаясь в семинаре профессора В.В. Стоклицкой-Терешкович, Юра овладел средневековым французским и, подвергнув тщательному анализу и изучению хроники XII века, сделал один из лучших докладов — о восстании горожан Лана в Северной Франции; из доклада получил затем очерк "Восстание Ланской коммуны", вошедший в сборник "Средневековье в эпизодах и лицах", который университетское издательство выпустило в самый канун войны. Спустя год, в письме из госпита-

ля, он иронизирует по поводу "стоклицианской корректуры": дела давне минувших дней. Но в другом письме скажет всерьез и с убеждением: "Может быть, я и забываю свои средние века (даже наверное забываю), но историком я себя ощущаю более, чем когда-либо".

Вроде бы азбучная истина: истории нет без историка. А он — откуда? И входит ли в понятие истории защита того, что силишься узнать о ней, как и защита того, кто силится ее понять? И еще одно, будто бы дважды два — четыре: каким бы малым осколком былого ни занимался историк, проникнуть в него дальше верхних слоев удастся лишь тогда (и постольку), когда (и постольку) в сознании ищущего присутствует — подспудно — вся человеческая вселенная. Две истины Двадцатого века. Но столь ли очевидны они, какими кажутся, они и связь между ними — узел, стягиваемый личностью историка; и оттого прежде всех вопросов вопрос: есть ли она, быть ли ей — личности?

Юре Масленикову этот первовопрос, вероятней всего, показался бы праздным. За чем дело стало... Простоту и ясность взгляда он доказал жизнью — в ее укороченных сроках. Но (добавим от себя к сказанному им самим) и до войны он уже был историком в смысле, дополняющем и превышающем диплом и звания. Маленькая подробность: еще в юные годы стал знатоком и ревнителем эсперанто. На истфаке бредил Испанией и сразу же присоединился к начатому нашим курсовым полиглотом Анатолием Старостиным движению за изучение испанского языка. Борис Святский запомнил Юру на первомайской демонстрации провозглашающим в полную силу голоса по направлению к трибунам, на которых издали виднелись испанские береты: "Viva la Republica Espanola" "Юра вел общественную работу среди политэмигрантов из республиканской Испании и, кажется, преподавал в школе для испанских детей", — вспоминает его друг — Александр Беленький. Юриной мечтой было отправиться в Испанию, в интербригады. Вышло иначе. Испания пришла — той же схваткой, но более жестокой во всех отношениях, — пришла в Россию.

Война для Юры началась, как и для многих его однокурсников, на строительстве противотанковых рубе-

жей. Потом в его жизни будут испытания много серьезней, но забыть ли далекую орловскую деревушку Снопоть, где квартировали, которую оставили, когда к Десне подошли немцы, забыть ли ту ночь, в самом начале августа 41-го, когда после катастрофы под Рославлем через наш, еще не вполне законченный рубеж проходили остатки разбитых частей, а студенты — историки и математики — копали без передышки сутки подряд, дабы здесь запнулись фашистские танки (они и запнулись — на время...). А ночью в высоком небе — гул немецких бомбардировщиков, летящих на Москву, перерыв связи с родными, тревога по поводу их судьбы.

Юра, как и Валя Вайсман, не входил в число "первых лопат" университетского батальона, но к его нравственному авангарду они оба бесспорно принадлежали. В памятный же день 16 октября сбывается страстное Юрино желание (ради которого готов он был даже удрать со строительства): он вступает в военный строй. Затем — фронт, ранение, учеба, снова фронт, снова ранения, гибель.

Третий — Иосиф Босин. Московский мальчик с Тверской-Ямской, рано потерявший отца, с детства знавший, что такое нужда. "Жили, перебываясь", — сказала о нем и матери их родственница. Впрочем, не это обстоятельство отличало Осю. Оно и не замечалось и даже не было известно, в том числе друзьям. И это так же по-своему — лицо поколения. Бедности не стыдились, но и идеалом она уже не была. Нигилистский стыд перед народом за возможности, которых лишены миллионы, стал историческим сюжетом. И самое понятие "народа", как чего-то отдельного, не совпадающего с думающими, пишущими, знающими, уходило, забывалось. Но была задача — личная, которая вместе с тем воспринималась как долг и поприще: образоваться — то есть очеловечиться (тогда это представлялось равносильным).

Иосиф Босин сделал себя в полном смысле образованным человеком. Хорошо знал французский, немецкий, овладел испанским, стал читать по-итальянски, что было тогда редкостью. Из заработанных уроками денег откладывал немалую толику на книги и составил себе в конечном счете отличную библиотеку; любимой девуш-

ке подарил полного Шекспира на английском — оторвал от души. По-настоящему понимал музыку, предпочитая классиков, но не впадал в староверчество. И само собой — серьезно относился к науке. Однокурсница вспоминает, с каким подчеркнутым уважением разговаривал с ним Борис Ефимович Штейн, руководивший его работой по истории международных отношений.

Сухарь? О нет. Ничего похожего. Также — из стилистов, знавших цену шутке, и из романтиков по складу души, но — в духе пушкинской традиции — владевших мерой. И что характерно: даже некоторым из близко его знавших однокурсников он казался старше своего возраста, хотя внешность его не давала для этого никаких оснований; в кружке друзей слыл своего рода эталоном нравственной дисциплины — и в будничных коллизиях, и в тех, которые принято называть "принципиальными". Правда, для него, как и для Юры и для Вали, "грань" здесь была более чем условная, да и самое понятие нравственной дисциплины, возмись он (и они) разъяснять эту "дефиницию", вряд ли свелось к одному лишь запрету и даже (даже!) к добровольным ограничениям страсти и воли; еще — какое-то неуловимое и трудно дающееся сочетание такта и порыва, сосредоточенной внутренней работы (сам-один, сам-два, сам-пять...) с открытостью людям, безусловной даже в тех случаях, когда трудно рассчитывать на взаимность, когда стеною — размолвки и предрассудки, корнями уходящие не только в "кровь" и в нрав, но и в самое, казалось бы, общее и нераздельное: слово, образ, культуру.

Тремя годами раньше развязки Ося Босин вместе с будущими ополченцами — Мусей, Игорем и Сашей, да еще Борисом Святским и "командором" Костей Забродиным путешествовали по реке Белой. Были куплены две шлюпки, получившие имена собственные: одна — "Улыбка", другая — "Историк-марксист". Введен был и устав совместной "холостяцкой" жизни, а события ее заносились в лирик-иронический дневник. Под 7-м августа 1939 года в этой летописи значится: "После обеда-ужина в Вязовой с отягощенным желудком пошли быстрым шагом на ближайшую гору [...] Взойдя на вершину, уселись в самых причудливых позах, упиваясь наслаждениями, которые дает человеку одна лишь природа, —

чистый горный воздух, роскошный пейзаж, мягкая щекочущая трава [...] Насладясь, отправились еще выше, где улеглись на лужайке и принялись беседовать о самых различных материях, о народах, об американцах в частности, и о правильности нашего представления о них, об Олдингтоне, о Хемингуэе, о будущей войне и наших шансах попасть в малую кровь — всего не перечтешь".

Дежурный автор оканчивает свой текст полусерьезным вопросом: а не болтливы ли мы, а если да, то в какой степени? Да, они любили поболтать, эти двадцатилетние. И наверняка очень бы удивились, если бы кто-то дальновидный предрек, что запись, сделанная в камской глухомани, в том памятном месяце того памятного года, спустя полвека заставит вздрогнуть сверстников ("малая кровь": из шестерых в живущих один...) и что где-нибудь в конце XX, а то и в XXI столетии коллега-историк станет рассматривать в лупу эти и сейчас уже едва различимые карандашные строки, силясь понять: мудрыми ли были те или просто наивными, а может быть, теми и другими в одно и то же время и, может, оттого безмятежными и уверенными в себе на самой кромке беды?

Осю, как и Валю, унес кровавый смерч лета 1942-го. Юра Маслеников, подобно Яну Пинусу, дожил, воюя, до 1944-го. Так они — совместно и врозь — догнали друзей и снова стали рядом с ними: теперь уже в жизни после смерти.

## ЮРИЙ МАСЛЕНИКОВ

30 августа 1941 г.

*Здравствуй, дружище!*<sup>49</sup> Написать тебе собирался давно, да мешали недостаток открыток и занятость мыслями о непонятном молчании отца. Теперь все устроилось благополучно, и я наконец собрался написать тебе. Пишу не только с целью рассказать о себе (говорить, кроме того, что жив-здоров, работаю много и давно и буду работать еще аллах ведает сколько и тщето рвусь в армию, — нечего), сколько чтобы вызвать тебя на ответное письмо. Надеюсь, тебе есть, о чем писать и письмо выйдет подробным. Однако да не отложат соображения наибольшей подробности отправки письма в долгий ящик. Итак, жду.

Крепко жму руку.

Ю.М.

Саратов, 20 марта 1942 г.

*Дорогой Шурка!*

Не знаю, получил ли ты мою открытку: ответа на нее я не получил. Не боясь повториться, вкратце расскажу, что я делал эти 5 месяцев. С 16-го октября, как я вступил добровольцем в Краснопресненский батальон, до середины декабря нес караульную службу на ближних подступах к Москве. С 19-го декабря по 20-е января обучался на курсах младших командиров в Москве, после чего вернулся опять к себе в часть (в звании меня так до сих пор и не оформили). 11-го февраля мы двинулись поездом на Калининский фр., 18-го сгрузились и отправились в поход, а 22-го вступили в бой. Выбили фашистов из двух деревень и повели наступление на третью. Нашей группе поручили "прочесать" сосед-

---

<sup>49</sup> Письма адресованы сокурсникам: первые три — Александру Беленькому, четвертое — Рахили (Леле) Горелик, последнее — Борису Косолапову.

ний лес от вражеских автоматчиков. Едва приступив к выполнению задачи, я был ранен разрывной пулей в правое бедро и вынужден покинуть строй.

Прошло почти три недели, пока я, путешествуя по этапам (с санпункта в медсанбат, оттуда в полевой госпиталь, затем на станцию и поездом в Москву, а оттуда опять поездом уже сюда, в саратовский госпиталь), добрался наконец до тихой пристани и смог подвергнуться систематическому лечению. Но теперь все в порядке и рана заживает нормально. Я свободно довольно хожу в пределах госпиталя, без особого труда одолевая подъемы и спуски по лестнице. Досуг свой занимаю чтением (взялся за немецкий) и письмами (шлю и ожидаю — пока без результата). Питаю надежду, что мой вынужденный отпуск не превысит месяца, так что в середине апреля я смогу возобновить свою воинскую карьеру. Впрочем, обстоятельства располагают. Откровенно говоря, малость досадно, что воевать довелось так мало.

Шурка! Не поленись ответить сразу и поподробнее [...] Привет Фиве и малышу. Крепко жму тебе руку и обнимаю.

Ю.М.

**Саратов, 28 апреля 1942 г.**

*Дорогой Шурка!* Письмо твое, вопреки нашим с тобой ожиданиям, застало меня все еще здесь. Я уже давно пользуюсь своей простреленной ногой так же свободно, как и здоровой (очень помогла лечебная гимнастика); все же остается еще окончательное заживление раны, что потребует по крайней мере недели две сроку. Если бы не суровый режим, я бы целые дни проводил в прогулках по городу. Пока же таковых я имел всего лишь три (каждая из них часа по 2, по 3) и познакомиться с Саратовом так, как с Новгородом хотя бы или с Ленинградом, не успел. Жажду свежего воздуха и картин весенней природы приходится утолять в тесных пределах гос-

питального двора. Но — "на войне, как на войне".

Досуг свой усиленно заполняю чтением — "отчитываюсь" (по аналогии с "отлеживаюсь", "отъедаюсь"). Прочел массу хороших книг (по большей части из тех, что собирался прочесть еще до войны). Занялся также немецким и уже одолел гейневскую "Германию". Сейчас читаю в оригинале "Твоего неизвестного брата" Бределя и только что закончил "Войну и мир". Словом, как видишь, опять на время вернулся в привычную "интеллигентскую" колею. Но странное дело! Если раньше, до войны, я мечтал о таком времяпрепровождении, как о лучшем отдыхе, то теперь книги не приносят мне уже той всепоглощающей радости, не могут увлечь, как прежде. Невольно тяготит мысль о вынужденности этого отдыха. Помнишь мои излияния на спецзадании? Так я и сейчас, не кривя душой, так же рвусь на передовую, как и тоща. Не знаю, чувство ли мести поддерживает мой боевой пыл, — скорее, это чувство долга перед историей и перед самим собой, — но я откровенно рад, что рана не сделала меня негодным для схваток с фашистами (прости, что звучит напыщенно, но ты меня знаешь и поверишь мне). Мне было бы мучительно не по себе и стыдно перед памятью погибших товарищей (кроме тех, о которых я узнал от тебя, в этой войне я потерял двух близких друзей — пропали без вести), если бы я не стремился всеми силами опять на фронт.

Письмо твое вызвало в моей памяти массу воспоминаний. Как далеки и "историчны" Дризен, Браславский ("браславщина")<sup>50</sup>, мое "адью" и прочее! А сборник наш и стоклицианская корректура! "Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой..." Интересно мы жили в мирное время, но я и нынче не скучаю; а в будущем, если доживу (постараюсь дожить), жить будем еще

---

<sup>50</sup> Фамилии начальников участка на строительстве противотанковых рубежей.

интереснее и тем более, что мы будем знать цену жизни. Часто мечтаю о встречах после войны. Где-то сейчас Вайсманок с нашей карточкой — залогом будущей встречи?! Где Милька» Левка? Где корифеи землекопания — Кора, Рижский и пр.? Где Колька Банников? И опять в голове вертится цитата: "Иных уж нет, а те далече..." И смешно и грустно. Зато я так рад, что не потерял тебя! Право, очень хорошо, что у тебя много работы и ты не поддаешься провинциальной скуке, а сдаешь кандидатский минимум. В свое время мне придется догонять тебя, но я этим нисколько не огорчен.

Кончаю письмо, и такое ощущение, будто отвел душу в доброй беседе с другом. Ответное письмо пиши мне уже на новый адрес, который сообщу, как только он у меня будет. Посылаю наилучшие приветы Фиве, Розе Лазаревне и малышу, речения которого привели меня прямо в восторг.

Обнимаю тебя. Твой Юрка.

P.S. Напиши в будущем письме, с кем из наших факовцев держишь связь.

**18 июля 1942 г.**

*Здравствуй, милая Леля!*

Твое письмо меня очень обрадовало. Сказать по правде, я и ждал его, и не ждал; я разослал уже много писем на все известные мне адреса наших ребят, и твое письмо пока первое и единственное, явившееся ответом на мой призыв. Ни от Шурки Беленького, ни от Лиды, ни от Лапоко-са я здесь не получил ответа. Тем более поспешил я написать письма Борьке Святскому и Вальке Вайсману, адреса которых ты сообщила. Сегодня я нахожусь в наряде — несу караульную службу — и, пользуясь несколькими часами свободно располагаемого мною времени, отдаюсь писанию писем. Прошло уже около месяца учебы, и я могу сказать, что кое-чему за этот период я научился. Солидная, возрастающая постепенно

физическая нагрузка переносится хорошо, организм вытенированывается и закаляется. Чувствую себя в общем прекрасно. Ты мало пишешь о Мишке Гефтере и ничего о Борисе Ане<sup>51</sup>. Получили ли они мою открытку на адрес госпиталя (Торжок, п/я 9)? Почему не отвечают?

Что слышно о М. Рижском, о В. Библере, о Славке Кареткине и Вальке Вирене? На днях отправил письмо нашей кассирше Елизавете Алексеевне. Думаю, что она сможет сообщить кое-что о некоторых из наших истфаковцев. Как получу от нее ответ, сообщу тебе все новости. Вот почему Лида не пишет — этого не могу понять. Может, моя открытка не дошла до нее? Я напишу ей снова, а ты, со своей стороны, сообщи мой адрес. Вообще любой адрес наших ребят сообщи мне: я уже не поленюсь написать каждому из них.

Как много переменилось за год! Прошлый июль я только приступил к работе по спецзаданию, будущее рисовалось очень смутно и, хотя часто задумывался о том, что же будет через год, представлял себе обстановку и лично себя очень слабо. Теперь и обстановка (Воронеж — не Смоленск) и я (курсант — не землекоп) изменились в корне. И настроение, естественно, серьезное, злое, но без тени отчаяния. Хочется только скорее усвоить курс наук, освоить специальность и включиться в грандиознейшую заключительную схватку с фашизмом. Может быть, я и забываю свои средние века (даже, наверное, забываю), но историком я себя ощущаю более, чем когда-либо. Ну вот и пустился в философствование "сержант в очках"...

Ладно, для этого письма написал много. Жду твоего ответа.

Крепко жму руку.

Ю.М.

---

<sup>51</sup> Борис Ан — участвовал в строительстве оборонительных рубежей на Десне; в октябре 1941 г. добровольцем вступил в истребительный батальон Красной Пресни; после ранения зимой 1942 г. вернулся в строй; погиб под Ржевом в 1942 г.

**9 января 1944 г.**

*Дорогой Борька!*

От Мильки Кв[астеля] узнал твой адрес и спешу связаться с тобой. Последнюю открытку получил я от тебя, когда был курсантом училища в Иванове. Училища кончить не пришлось: послали на фронт. Здесь, на Ср. Дону, дважды (в дек. 42 и янв. 43) был ранен. В апр. 43, после госпиталя, попал на армейские курсы мл. л-тов, кончил их в августе лейтенантом, работал в штадиве переводчиком, был в четв[ертый] раз ранен (в разведке) 7 сент. 43. В госпитале лежал в Москве. Видел истфак, Сказкина, Мишку Гефтера, Левку Менделевича, Мишку Рабиновича (кандидат наук!), Лелю Горелик, Юрку Левинсона, Любу Растопчину и Верочку Кутейщикову.

Связался с Милькой и посетил его родителей. После госпиталя, побыв дома, явился в ОК Укр[аинского] фр[онта] и получил назначение в армию переводчиком. Вот уже с неделю как работаю. Милька пишет, что с тобой вместе служит Мотька Портнов. Как вы оба там живете? Что знаешь о ребятах? [...]

Крепко жму руку тебе и Мотьке. Пишите.

*Ю.М.*

## **ВАЛЕНТИН ВАЙСМАН**

**3 февраля 1942 г.**

*Дорогая Искра!*<sup>52</sup>

На днях получил письмо от Лели — долгожданное! — в котором она сообщила мне, среди разных страшно для меня интересных вещей, и твой адрес. Мы, оказывается, почти соседи и имеем возможность получать друг от друга письма не больше, наверное, чем через 5 дней после отправления. К тому же вообще страшно хочется с

---

<sup>52</sup> Адресат — Искра Гофман, двоюродная сестра ближайшего университетского друга Вали — М. Гефтера.

тобой хоть в письме поговорить, если не увидеться (а может, и это осуществимо? Вот бы здорово!!) [...] На днях ответил Леле и написал письмо брату — Шуру (Мотя и Леля прислали мне его адрес). Теперь пишу тебе, завтра — еще ребятам (Лелька, спасибо, наслала адресов). Так что постепенно налаживаю связь.

Искорка, о себе только — что я подробно (сравнительно) писал Мишке. Ей-богу, лень повторяться. Кратко: я завуч и учитель химии (!! — твой коллега!), биологии, географии (не истории!) в здешней НСШ. Наша деревня (адрес на конверте) — в двух км от шоссе Свердловск — Сысерть, ведущего дальше на Челябинск. От Свердловска я в 35 км.

Живу тут с мамой с декабря.

Право, все остальное, что я писал о себе Мишке, — полувоспоминание о прошедшем, полусамоанализ в духе интеллигентского психоложества. Жизнь наша с мамой тут однообразна и лишена внешних деталей. Я готов поделиться с тобой сведениями о своей работе тотчас по получении от тебя — непременно подробнейшего! — ответа — о жизни своей, о своей работе, о наших дорогих Гофманах (где они, что с ними, что делают), об Оле. Лелька мне писала, что твое письмо к ней было страшно взволнованным — она узнала, что оно от тебя, по твоему крику: "Где Мишка?" Я вполне понимаю твое настроение: я и сам в первый же день, что тут обосновался, написал Леле и Моте и жутко волновался за Шуру — своего брата — и Мишку, пока наконец через 1,5 мес. не получил ответ [...]

*Твой Валя*

Позабыл сообщить самую главную новость о себе: на днях я принят на воинский учет. Теперь я годен к строевой службе. Я, откровенно говоря, рад, но каково будет маме одной здесь, когда меня призовут!

**10 июня 1942 г.**

*Дорогая Искра!*

Твое письмо с поздравлением я получил лишь на днях, т.к. адрес мой переменялся (см. на обороте) и

письмо шло долго. За него тебе большое спасибо. Пиши почаще.

Получил наконец письмо от Мишки из госпиталя (к твоему сожалению, до твоего сообщения о его ранении), после долгого перерыва — от Лели, еще от нескольких наших ребят. Некогда всем ответить сразу!

Моя жизнь по-прежнему проходит в учебе. Ничего внешне особенного в ней нет... Но не подумай, что я скучаю, или тоскую, или томлюсь. Отнюдь нет! С другой стороны, нельзя сказать, что перегружен или переутомлен.

Сам увидел теперь следы пребывания фашистов, услышал рассказы жителей, отведавших от них горя. Жуткие вещи. Газеты полностью передают всю правду. Народ до сих пор ошеломлен тем, что пережил. Лишь постепенно оправляются, встают на ноги [...]

Искра, пиши о себе подробно, часто. Пиши моей маме. Я краток по трем причинам: нечего писать, нет бумаги, нет времени.

Что Оля? Пишет ли она? Большой ей привет. Будь здорова, до свидания, Искорка.

*Твой Валя*

**23 июня 1942 г.**

*Дорогая Искра*, сегодня получил твое письмо. Отвечаю вкратце на вопросы, поднятые в нем. 1. Да, я автоматчик, и постараюсь справиться с этим званием. А зрение в очках у меня сравнительно неплохое. Гораздо хуже, что я, как знаешь, медлителен и неуклюж. Постараюсь и с этим справиться. Чувствую себя хорошо. Здоров вполне. Только погода необычайно плохая для этих мест. Жары нет, а помнишь, год назад, в начале войны, какая жара была? 2. О встрече с Мишкой и со своим братом (он, по-видимому, под Ленинградом), ясно, мечтаю, но "Бред — мечта и бесполезно грезить, надо несть служебную нуду..." (Маяковский). 3. О "мистерах" Мишка мне писал. Теперь, кажись, дело на лад, но мне, по старой привычке, не верится! Насчет Англии предпочитаю держаться взгляда "поживем — увидим". 4. О себе и своей работе пиши подробней, чаще — очень интересно.

5. Ревекке Захаровне большой горячий привет. 6. Бориса поздравляю с успехом в учебе в трудных усл. Пусть растет еще выше во всех отношениях. 7. Привет, лучшие пожелания Изр[аилю] Викторовичу. Хорошо бы, если бы он написал моей маме из Москвы о последней: мама хотела бы в Москву, но: а) не знаем, как это сделать, б) не уверены в целесообразности этого. 8. От Лели имел открытку от середины мая. Послал через нее письмо Мишке. Пиши, как только узнаешь о ней. Вели писать мне. 9. Ответ Бобке: я еще не на фронте. 10. Оля в Баку (что там делает?!).

Всего, всего хорошего. Искра, пришли мне небольшую книжонку хороших стихов бандеролью. Это можно — получил от мамы тетради.

**5 июля 1942 г.**

*Дорогая Искра!* Получил твое очередное письмо (от 24/VI). Разумеется, был зверски доволен. Приятно, что подробно пишешь о себе, о своем настроении изменчивом. Бумага, присланная тобой, пригодилась мне как курительная за отсутствием лучшей. А та, на которой пишу, прислана недавно мамой. Право, не знаю, чем заполнить весь лист: все у меня гораздо однообразней, беднее внешними событиями, чем у тебя. А насчет своего "внутреннего мира" — он тоже очень прост сейчас: бодр, стараюсь выполнять все требуемое. О своих слабых местах уже сообщил тебе в прошлый раз.

Что еще о себе написать? Ей-ей, нечего и лень (по-старому, черт побери!). Мог бы заняться "самопсихоанализом". Но ни к чему. В общем, все сводится к тому, что ты зря, Искорка, величаешь меня свиньей: я краток лишь из-за отсутствия материала.

Обещаю: если будет что новенького — сообщу. Ты же продолжай писать мне, как и до сих пор, — часто, подробно.

Будь здорова, работяща и многословна в письмах. Переписывайся с моей мамой, пожалуйста!

Большой привет твоим папе, маме, Борису.

*Твой Валя*

Насчет своих снайперских успехов пока не пишу: пока главным образом занимаюсь матчастью.

*Тот же*

**11 августа 1942 г.**

*Дорогая Искра!* Твое письмо получил дней 8—9 назад, но ответить было некогда. Как раз 9 дней назад я впервые оказался на фронте и все эти дни находился в походе. Двигался со штабом полка вслед за нашей наступающей частью. Наступление продолжается и сейчас. Если я, по случайному стечению обстоятельств, до сих пор не был на передовой, то скоро, наверное, буду. Пока же боевого крещения не получил.

Пиши, Искорка, мне часто, много. Пиши о себе, о своих, обо всем.

Я имел на днях большое письмо от Мишки. Он собирается уходить из госпиталя назад в армию.

Искра, пожалуйста, не рви связи с моей мамой!!

От Шурки<sup>53</sup> моего все еще ничего нет...

Будь здорова.

Привет Рев[екке ] Зах [аровне], Борису, Изр[аиллю] Викт [оровичу] и Москве — Оле и Баку!

*Твой Валя*

## **ИОСИФ БОСИН**

**Актюбинск, 16 ноября 1941 г.**

*Лида, дорогая моя!*<sup>54</sup>

Как видишь, со дня, как я отправил тебе последнее письмо (около Казани), никаких перемен

---

<sup>53</sup> Старший брат Вали — Александр Вайсман — погиб в 1942 г.

<sup>54</sup> Адресат — Лидия Максакова. Последние два письма — Рахили (Ле-ле) Горелик.

у меня не произошло. Передо мной пронеслись новые сотни и тысячи километров, короткие остановки в Свердловске, Челябинске, Чкалове и снова непрерывное движение. Признаться, езда эта мне даже здорово надоела, хотя, с другой стороны, я все время теперь проезжаю по новым краям, и моя ненасытная жадность к новому получает обильную пищу. Сейчас для меня главное — это скорее прибыть на место и узнать поскорее все о тебе.

Родная моя, я безумно соскучился по тебе. Я все время думаю и передумываю о тебе. Меня очень беспокоит то, что я не знаю, как ты устроена, как себя чувствуешь, поддерживаешь ли ты сейчас связь с родителями, родственниками и друзьями? Не чувствуешь ли ты себя одинокой? Если это так, любимая, то не поддавайся этому чувству. Ведь наша разлука временна. Мы должны скоро увидеться. С тех пор как я узнал тебя, во мне установилась и все время укрепляется убежденность, что мою великую любовь к тебе не могут притупить никакие расстояния, никакие сроки, никакие невзгоды. Наоборот, моя любовь, уважение и преклонение перед тобой растут непрерывно и будут расти вечно. К этому всегда будет присоединяться чувство бесконечной благодарности за то, что ты дала мне самое лучшее, что есть во мне, — моя любовь к тебе.

Родная, теперь мы участвуем в величайшей борьбе. Ты уже сделала и делаешь дело, которое по своей важности превосходит работу многих из нас, всех твоих друзей и товарищей. Мое участие еще, к сожалению, не таково, как я хотел бы. Но я жду с нетерпением того момента, — а он скоро наступит, — когда я смогу отдавать все свои силы этой великой борьбе. И ты всегда будешь вдохновлять меня и служить примером для меня. Будь здорова, дорогая моя девочка. Крепко тебя обнимаю и целую.

*Иос. Босин*

P.S. Тысячу раз прошу извинить меня за варварский почерк: в последнем вагоне качает, как на палубе парохода при свежем ветре.

**Ашхабад, 29 января 1942 г.**

*Лида, любимая!* [...] Экзамены сдал первым в подразделении и с неплохими результатами. Сейчас предстоит прослушать еще несколько дисциплин. Я с нетерпением жду дня окончания курсов — хочу скорее попасть в настоящее дело.

Дорогая моя. Я безумно соскучился по тебе. Не знаю, что бы я отдал, чтобы только взглянуть на тебя. Лида, пришли мне свою последнюю фотокарточку. Только снимись теперь. Как твоя комсомольская работа? Начались ли уже полеты? Когда будет выпуск? Что ты думаешь делать после этого выпуска? Пиши мне обо всем подробно. Твои письма — это самое радостное для меня [...]

Получил в ответ на мое письмо, посланное в Сталинград, очень теплое и дружеское письмо от отца Яна Пинуса. От него я узнал, что наши ополченцы в октябре попали в очень тяжелое положение. Яну и еще некоторым ребятам удалось выбраться к Москве. О Сашке, Игоре и других ничего не известно. Ян после ополчения был взят в кадры и сейчас находится в действующей армии. Я уже написал ему и жду с нетерпением его ответа. Он теперь единственный оставшийся у меня близкий друг. Об остальных мне ничего не известно.

Лида, я убежден, что лучших друзей, чем у меня были, у меня больше никогда не будет. Каждый из них представляет собой индивидуальность, личность. И больше всего я думаю о Сашке Осповате. Мне даже как-то совестно перед остальными моими старыми друзьями. Но с ним последнее время я был исключительно близок, на его светлую голову я возлагал очень большие надежды. Уже два раза я писал в Хабаровск, что-

бы разузнать адрес Верочки Кутейшиковой (может быть, она знает что-нибудь о Сашке), но пока никакого ответа не имею. Ну, дорогая, я заканчиваю, я, наверное, надоел тебе своими излияниями.

Родная моя девочка, я ужасно тоскую без тебя. Прости меня. Я не должен был писать этого. Но иногда не хватает выдержки и человека прорывает. Когда замедляется круговорот дел, поглощающий меня, ярко встает твой образ передо мной и пробуждается острая-острая тоска. Но, Лида, может быть, мы скоро увидимся. Пока же пиши, родная. Крепко тебя обнимаю и целую.

*Иос. Босин*

**Ашхабад, 21 марта 1942 г.**

*Моя любимая!* Пишу тебе это письмо и не знаю, дождусь ли ответа на него здесь, в Ашхабаде, так как выпуск уже близок. Однако до того, как ты получишь мой новый адрес, пиши сюда. Я договорюсь с Рузой о том, чтобы она мне пересылала все прибывающие на мое имя письма. И теперь уже конец марта и у вас, вероятно, уже произошли те перемены, о которых ты писала. Я с нетерпением жду вестей от тебя, чтобы узнать, где ты теперь будешь работать и жить. У нас уже произошла аттестация. Вероятно, к выпуску получу воинское звание. Здесь же получу назначение. Я приложу все свои силы к тому, чтобы увидеть тебя, когда поеду по назначению. Если бы ты знала, родная, как я безумно соскучился по тебе. Мне бы только посмотреть на тебя и немного поговорить с тобой перед отъездом.

Здесь уже началась весна. Зацвели яблони, горы покрываются травой, и сильно припекает солнце. Вспоминается прошлогодняя весна. Как много изменилось с тех пор. Но не будем грустить, дорогая. Только уничтожим проклятого врага, а потом расцветет для нас множество прекрасных весен; соберутся друзья и заживем все новой чудесной творческой жизнью. А теперь нужно

безжалостно подстегивать себя, чтобы целиком отдаться жестокой борьбе. Только бы сразу попасть на фронт [...]

На днях получил полное глубокого дружеского чувства письмо от Яна Пинуса. Не знаю, чем это я заслужил такую любовь, но уверен твердо в том, что, пока жив буду, все силы положу на то, чтобы наша дружба росла и крепла. Только нужно нам потом вновь собраться вместе. Почему я так дорожу нашими истфаковскими друзьями? Об этом я тебе уже отчасти писал в одном из своих писем. К этому нужно еще прибавить, что я в них вижу не только хороших друзей в обычном смысле этого слова, но и очень ценных людей, которые в будущей своей деятельности могут достичь больших результатов. К сожалению, этого я не могу сказать о подавляющем большинстве товарищей, здесь со мной обучающихся. Уж слишком они ограничены, несмотря на то что все имеют высшее образование. Но есть у меня и здесь несколько хороших друзей. О каждом из них можно было бы многое рассказать. Например, об Умаре Багазове — красавце осетине, с которым мы уже договорились, что после войны поедем вместе с тобой к нему на родину в самые дикие места. Но первый среди всех — это по-прежнему Федор Бучний, с которым ты знакома. Теперь в силу различных причин нам иногда удастся перекинуться несколькими словами за день, но когда мы вместе работаем или просто встречаемся в дружеской беседе, всегда дает себя чувствовать наша большая взаимная симпатия. Вот с ним мне будет очень жалко расставаться. А расставаться придется, так как, если бы даже выбор места работы зависел от нас, — все равно мы разъедемся. Он стремится на свою родную Украину, а я — через Москву на Запад. Вообще, Лида, родная, я, наверное, сильно изменился, не в своих взглядах и вкусах, конечно, но в привычках. Я настолько вжился в армейскую жизнь, что с трудом теперь представляю себя в штатском платье или в обычной, так сказать, домашней обстановке. Поэтому теперь иногда кажутся диковинными, и заманчивыми такие вещи, привычки, которые раньше были совсем обычны. Но больше всего на свете хочу я увидеть тебя, услышать твой голос, взять осторожно в руки твою чудесную голову, взглянуть в твои голубые глаза, крепко обнять и нежно-ласково всю-всю целовать.

Как много мне нужно сказать тебе, любимая, и о многом рассказать — поделиться своими мыслями. Если же нам скоро и не предвидится увидеться, то ты пиши, дорогая, часто и подробно. Пиши не только о фактах своей жизни, но и о своих впечатлениях о прочитанном, виденном и т.п. Часто ли переписываешься с нашими девушками? Где твои родители, все еще в Саратове? Как они поживают? [...]

Если ты знаешь адрес Иры Рахмановой (из писем Яна я узнал, что у нее теперь есть сын Сергей — вот здорово!) или еще лучше самого Яши Дробкина — обязательно сообщи его мне. Ну, я кончаю, дорогая. Прости за некоторую беспорядочность письма.

Крепко тебя обнимаю и всю-всю целую.

*Иос.Босин*

**Ашхабад, 16 мая 1942 г.**

*Дорогая Лида!*

[...] Прошло уже более полугода, как мы с тобой последний раз виделись в Москве. Много за это время пришлось перенести и пережить тебе и мне. К тому же, может быть, и срок и расстояние, нас разделяющие, должны были охладить горячее чувство любви?..

Отвечая за себя, я твердо говорю: нет и тысячу раз нет! В чем причина такой уверенности? Много раз я задавался вопросом, почему мое чувство любви к тебе так непреодолимо, неугасимо и всеобъемлюще. Вопрос этот всегда возникал у меня потому, что я хорошо знаю себя и всегда понимал и понимаю теперь, что для любви в общежитийском или даже обиходно-литературном понимании меня надолго не хватит. Мне быстро все это надоедает. И всегда на мой вопрос находился единственный ответ: мое безудержное влечение к тебе, полное и добровольное подчинение твоему обаянию скреплены гранитом беспредельного и самого искреннего уважения к твоей личности. Может быть, подсознательно, я всегда понимал и чувствовал, что чем-то таким должна быть настоящая любовь, и может быть, это подсознательное стало сознательным не без твоего участия,

так как, оглядываясь в прошлое, я вижу, что во многом заблуждался и многое понимал неправильно. Всего этого я не стыжусь писать и никогда не буду стыдиться говорить еще много большего в этом роде (все же ведь не напишешь) безотносительно к тому, останутся ли твои чувства ко мне неизменными или в корне переменятся. Чувство пошлого самолюбия никогда не посмеет заговорить во мне, если дело касается тебя или моего отношения к тебе. Да и вообще, если меня и можно упрекать во многих грехах, то человек, мало-мальски знающий меня, уж никогда, мне кажется, не заподозрит меня в пошлости. Но не подумай, что я пишу это, чтобы разжалобить тебя или чтобы вызвать в тебе ответную реакцию на мои, так сказать, душевные излияния. Нет, не этого я хочу. Да и уместны ли сейчас какие-либо любовные претензии?

Не скрою, нередко меня одолевает безумная тоска по тебе, в моей голове рисуются картины счастливой совместной жизни с тобой, но я безжалостно подавляю в себе эти мысли и чувства, так как хорошо знаю, что вся ваша жизнь теперь должна быть посвящена борьбе, борьбе и борьбе. И главная цель моя теперь — это как можно скорее попасть на фронт, чтобы отдать все свои силы, а если понадобится, и жизнь, нашему священному делу — уничтожению фашистского варварства и установлению новой счастливой жизни... Крепко целую.

*Иос. Босин*

P.S. В одном из последних писем Ян просил передать тебе его горячий привет. Приветствуют тебя также профессора истфака и Егорова. Я вчера был в МГУ. Поздравил Сергея Даниловича Сказкина с присуждением ему высокой награды — Сталинской премии первой степени коллективу ученых, работавших над "Историей дипломатии".

**Ашхабад, 4 мая 1942 г.**

*Дорогая Леля!* Твое письмо меня очень обрадовало и вместе с тем огорчило. Обрадовался потому, что я вновь почувствовал, что имею в твоём лице глубоко уважаемого и в высшей степени симпатичного друга. Много, видимо, пришлось пережить тебе, чтобы ты — такая волевая и такая умная девушка — написала такое полное печали и неудовлетворенности письмо.

Да, Леля, во всех нас середина октября и оставление Москвы оставили глубокий след на всю жизнь<sup>55</sup>, ты можешь себе представить, с каким чувством тревоги за родную Москву снимались мы с занимаемой нами линии на подступах к ней со стороны Малого Ярославца, когда по распоряжению главного командования нас перевели в глубокий тыл для продолжения учебы. Тем более понятно наше стремление как можно скорее попасть на фронт, чтобы стать в ряды наших товарищей, сражающихся с ненавистным врагом. В этом отношении у нас большие преимущества перед вами — девушками. Все мы входим в сложный организм армии, и каждая минута нашей жизни направлена к единственной цели. Как жалко, что вас, наших девушек, разбросало так поодиночке по всей стране. Вам было бы гораздо легче, если бы вы были вместе. Не огорчайся, дорогая. Мы вернемся, друзья соберутся вместе, и заживем новой счастливой творческой жизнью. Теперь же нужно только работать, не щадя своих сил. Хорошо, когда работа оказывается такой, где человек с максимальной пользой может применить свои силы. К сожалению, не всегда это бывает. Слишком большую роль играет элемент случайности. Увидеться с тобой в Куйбышеве так скоро, как предполагал, теперь не удастся, т.к. распределение будет происходить здесь, а куда направят — неизвестно [...]

На истфаке до сих [пор] мне побывать не пришлось, но Сказкина, Базилевича и др., а также Э. Герштейн я видел. Студентов вижу часто, т.к. их общежитие находится рядом с нашим. Вообще же МГУ влачит здесь довольно жалкое существование. Многие ребята жалеют, что уехали из Москвы. Цветков и Хроменко уехали в Ташкент в военное училище. Скоро уеду отсюда и я. По-

---

<sup>55</sup> Речь идет об октябрьских днях 1941 г. — эвакуации из Москвы людей и учреждений и т.д.

этому сюда мне больше не пиши. Как только прибуду на место, я напишу тебе.

Будь здорова и не унывай, дорогая.

*Иос. Босин*

**Вблизи Саратова, 31 мая 1942 г.**

*Здравствуй, Леля!* Наконец-то еду на фронт. В дороге я уже с 1/V. Задержал разлив реки Урал. Сегодня, вероятно, буду в Саратове. Оттуда поеду дальше на запад, а потом на юг. Настроение очень хорошее. Думаю только о том, чтобы на все сто процентов приложить на деле приобретенные знания и массу накопленной энергии. Буду теперь гораздо ближе к своим родным и ко всем вам — моим друзьям. Сможем регулярно переписываться. Как только прибуду на место, тотчас сообщу тебе мой адрес, и ты мне обо всем и обо всех подробно напишешь.

Будь здорова и счастлива, дорогая.

С дружеским приветом.

*Иос. Босин*

Сердечный привет Мише и всем остальным нашим товарищам.

# **ОТ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ РУБЕЖЕЙ ДО БОЕВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ**

В первом издании ниже приведенные материалы и сведения об Абраме Сонине были опубликованы отдельно, как собранные после подготовки рукописи. Но этих четырех студентов 1936 – 1941 гг. объединяет общая военная судьба: они участвовали в строительстве оборонительных рубежей и затем вступили в ряды Красной Армии, разделив судьбу других своих сокурсников. Это-то и позволило объединить их письма в отдельный раздел, отсутствовавший в первом издании.

*В.Б.*

## **МЛАДШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ВЛАДИМИР СКВОРЦОВ**

Судьба Володи Скворцова лишь формально отличается от судьбы его однокурсников, павших в бою; в некоторых же отношениях ее можно считать одной из наиболее типичных.

Путь, которым он прошел, вместил в себя дороги многих: после истфака учительствовал; белобилетником-добровольцем вступил в ряды Красной Армии, переупрямив военкомат; впервые в жизни обучился военному делу и сменил по необходимости несколько боевых специальностей. (Наш курс, в отличие от старших, не проходил в университете высшей военной подготовки, отчасти поэтому почти все начинали войну рядовыми, и какие только роды войск не представлены в нашем итоговом послужном списке —здесь и артиллеристы, и связисты, десантники, военные переводчики, политработники, медсестры, летчица и танкист и, конечно же, пехотинцы.)

Володя познал все тяготы будней войны. "Выгляжу я неплохо, только очень заметно поседел — виски и чуб. Ну да что поделаешь, я побывал в таком пекле, что вообще чуть-чуть голову там не оставил" (лето 1943-го). Пуля его тогда пощадила. Сразила же вскоре приобретенная на войне болезнь.

В дружной семье однокурсников у него свое место. Он был и усердным, серьезным студентом, и поэтом, и еще — добрым товарищем, одним из тех, кто вносит в общежитийскую жизнь согласие, веселье и порядок.

Его письма матери замечательны тем сплавом уважительности и нежности, который, конечно же, естественен, но разве и в этой естественности — не черта поколения, уже (и еще) не знавшего, как правило, мучительной коллизии "детей и отцов"?!

**Калачинск, 3 декабря 1942 г.**

*Моя родная мамочка!* Получил от тебя две открыточки, и был страшно рад им. Ты пишешь, что рвешься к Милке. Как бы я был рад, если бы вы соединились вместе! Постарайся, мамуля, выхлопотать разрешение на выезд — ведь Милка, кроме всего прочего, приобрела корову и в апреле у вас будет свое молоко. Так что жить вы будете не так уж плохо. Я только и мечтаю о том, что вы будете жить вместе и вместе ждать меня домой. А я обязательно вернусь!

Я уже писал тебе, что я радист. Нахожусь в отдельной роте связи, являюсь начальником радиостанции. Дело это очень важное и ответственное, хотя и опасное. Но я опасностей не пугаюсь и готов все силы отдать борьбе с немцами.

Мы уже одеты во все теплое — совсем готовы к отъезду. Опишу тебе наше одеяние (получили все новенькое, с иголки). Пара легкого летнего белья, пара теплого байкового белья (мягонькое, приятное). Гимнастерка, ватная куртка, ватные брюки, шинель, теплая шапка, шерстяной вязаный подшлемник, теплые портянки, валенки, рукавицы — "шубенки" (из овчины, внутри из овечьей шерсти). Кажется, все. Как видишь, с такой

одеждой воевать можно. Вооружены мы самым новейшим оружием. Будем крепко бить немчуру. По-видимому, наш отъезд — дело ближайшего будущего. Постараюсь известить тебя о нем телеграммой.

Посылаю тебе свою фотографию, очень плохую. Но думаю, что и она доставит тебе какую-то радость. Ведь у тебя совсем нет моих последних фотографий, тем более за время моего нахождения в армии. В общем, как говорится, на безрыбье и рак рыба.

Очень хочется писать тебе почаще. Ведь я отлично сознаю, с каким нетерпением ты ожидаешь весточки от меня. Но писать часто возможности нет никакой. Прости меня, что я так редко радую тебя письмецом, ведь это зависит не от меня. Я бы рад писать тебе чуть ли не каждый день. Но увы...

Что-то Милка ничего не пишет о возможности новой Танюшки. Я очень хочу, чтобы это было — за последнее время я как-то особенно болезненно переживаю потерю дочки. Казалось бы, горе должно было уже забыться, но получается наоборот. Очень часто ее вспоминаю и жалею и ее и нас. Хорошо бы, если бы у нас снова была детка. Уж тогда бы тебе волей-неволей пришлось ехать к Милке. Но что-то я боюсь, что мои надежды не оправдаются. Это будет очень жаль.

Ты теперь осталась почти одна, без родных и друзей (если не считать Марии Семеновны). Очень жалко мне тебя, моя бедная мамуля. Постарайся обязательно приехать к Милке. Кстати, как поживает Мария Семеновна? Ты что-то ничего о ней не пишешь. Передавай ей мой привет, когда увидишь ее.

Ну, мамуля, закругляюсь, ибо время мое истекло. Крепко, крепко целую тебя и обнимаю. Надеюсь на твой приезд к Милке и нашу скорую встречу после разгрома врага.

*Твой любящий сын. Вова*

**Калачинск, 1 января 1943 г.**

*С новым годом, родная мамочка!*

Желаю тебе здоровья и сил, чтобы к моменту нашей будущей встречи я тебя застал такой же, как я те-

бя помню в тот момент, когда мы расстались. Помнишь, на вокзале в Ногинске ты посадила в вагон нас троих, а сама стояла на перроне и махала рукой? Это было так давно, а я помню все так ясно, как будто это было вчера. Много воды утекло с тех пор, многое изменилось в нашей жизни. Вот уж скоро полгода, как я нахожусь в армии. Был пулеметчиком, минометчиком, а теперь готовлюсь ехать на фронт радистом, начальником радиостанции. Я теперь уже не рядовой красноармеец, а имею звание старшего сержанта (мне его присвоили как раз перед новым годом). Ношу на петлицах по три треугольника, получаю в месяц по 125 руб. зарплаты. Живу я пока хорошо. Ни в чем не нуждаюсь. Кормят нас прилично, одели хорошо, регулярно выдают махорку. Что еще остается желать, кроме скорейшего разгрома врага и встречи с моими родными мамулей и Милочкой (к сожалению, Танечку и папу я не могу поставить в этот список). Теперь уже остаются считанные дни до нашего отъезда. Кончатся дни напряженной боевой учебы. Скоро наступят еще более напряженные дни боев с немецкими захватчиками. Мы готовы к ним и ждем только приказа применить на деле все то, что мы получили за дни учебы в Калачинске. Досталось нам здесь крепко, но, как говорят, "тяжело в учении, легко в бою". Вкусил изрядную порцию крепкого сибирского мороза, слегка подморозил щеки и нос. Но это, конечно, пустяки.

Мамуля, родная, я уже давненько не получаю от тебя никаких известий (почти месяц). Как ты живешь, родная? Как твоё здоровье? Я тебе послал свою фотографию (правда, плохонькую), получила ли ты ее? Милуша получила, а я отправил их вам одновременно. Неужели это письмо пропало? Если так, то это очень досадно. От Милки не имел писем тоже очень долго, но затем получил сразу 3 письма, из которых узнал о ее планах во что бы то ни стало вырваться к тебе. Я горячо одобряю и приветствую эти планы. Самое лучшее будет, если вы вместе будете ожидать меня в Глухове. Вы обе одиноки и вам будет вместе гораздо легче жить. Милка тебя любит как родную мать (тем более теперь, когда ее родная мать, возможно, погибла). А я только и мечтаю о том, что вы соединитесь. Хлопочи, мамуля, изо всех сил

о разрешении на ее приезд. Тогда я со спокойным сердцем поеду на фронт, зная, что у меня дома все в порядке.

*Твой любящий сын Вова*

**14 апреля 1943 г.**

*Здравствуй, дорогая мамочка!*

Написал тебе открытку пару дней назад, но раз есть возможность написать еще, то пользуюсь ею. У меня пока все по-старому — жив и здоров. У нас здесь стоит настоящая весенняя погода — дни солнечные, теплые; скоро уже подсохнут все дороги. Правда, ночи холодные. Я очень рад теплу. Эта зима заставила-таки меня крепко и крепко померзнуть. Да и весна не сразу принесла облегчение: пришлось сутками сидеть в мокром окопе, по колено в воде, когда за воротник шинели просачивались леденящие струйки воды... Дома я, конечно, уже давно бы заболел и, наверное, лежал в больнице. Ведь шутка ли: неделями ходить с насквозь мокрыми ногами, мерзнуть при этом, как цуцик, и ничего. По-видимому, фронт закаляет людей и делает их маловосприимчивыми к разного рода заболеваниям. Тьфу, тьфу, не сглазить...

Получаешь ли ты мои письма? Я от тебя и от Милуши ничего не получаю, да и товарищи мои тоже никаких вестей из дома не имеют, из чего я заключаю, что здесь не вы меня позабыли, почта шутки шутит.

Крепко-крепко тебя целую, жду весточки от тебя.  
Твой любящий сын

Вова

**19 апреля 1943 г.**

*Дорогая мамочка!*

Наконец-то после четырехмесячного перерыва получил сразу 5 писем: 2 от Милуши, 2 от тебя (одно письмо и одна открытка) и одно от Лиды Чугаевой. По-видимому, это не первые письма — очень много пропало. Так, Мила пишет, что это 10-е письмо, которое она

посылает. Где же остальные? Наверное, пропали или придут позже.

Я по-прежнему жив и здоров. Сейчас у нас относительное затишье, наверное, перед грозой. Порадую тебя своими боевыми успехами: я произведен в средние командиры и скоро буду лейтенантом. Кроме того, я теперь стал кандидатом партии. Таковы мои дела на сегодняшний день. Скоро я тебе буду присылать деньги — будет тебе некоторое подкрепление. Об этом я мечтаю давно.

Может быть, все-таки к тебе приедет Милуша и вы будете жить вместе. Как бы это было хорошо! Надеюсь, что эти наши мечты сбудутся.

**4 июня 1943 г.**

*Родная мамуля!*

Сообщаю тебе, что я жив и здоров. По-прежнему ни от тебя, ни от Милуши ничего не получаю. Мечтаю получить по письмецу 12 июня, в день своего рождения. Ведь мне стукнет в этот день 25 лет! Выгляжу я неплохо, только очень заметно поседел — виски и чуб. Ну, да что поделаешь, я побывал в таком пекле, что вообще чуть-чуть там голову не оставил. Так что я еще дешево отделался — без единой царапины, только седина останется на память о тех ужасах, которые мне пришлось испытать.

Пиши, родная, о своей жизни и своих делах. Как обстоят у тебя дела с картошкой? Сумела ли ты ее посадить? Кланяйся всем знакомым. Твой любящий сын

Вова

**17 августа 1943 г.**

*Родная мамуля!*

Пишу и пишу тебе без надежды на ответ. Последнее мое письмо было из г. Ельца, из госпиталя. 14 июля я был на рентгене, сразу после чего на другой день меня стали эвакуировать дальше в тыл. Видимо, рентген показал не совсем хорошую картину в моих легких. Короче

говоря, признали туберкулез. Сейчас я пишу из санитарного поезда, сидя на третьей полке.

Еще никогда за время войны я не был так близко от тебя. Мы стоим километрах в трех от Москвы. Куда нас везут — точно не знаю, но говорят, что в Иванове. Как хочется увидаться с тобой, прижать тебя к своей груди, быть снова вместе. Я так много думаю о тебе, что даже в последние дни постоянно вижу тебя во сне. Сегодня это было настолько явственно, что я во сне громко крикнул: "Мамуля!" и проснулся от своего голоса, увидев, что вместо мамы передо мной стоит санитар. Хорошо, что была ночь и все спали.

Да, мамуля, откровенно говоря, дело с моим здоровьем — дрянь. Оно не вынесло того чудовищного напряжения, которое ему пришлось испытать. Нужно лечение, покой, уход. Все это не соответствует военному времени. Ты-то меня, конечно бы, выходила, как не раз выхаживала папу. Еще не вовремя развинтился желудок. Надо питаться, а у меня все прет обратно. Таковы дела. По адресу на конверте не пиши. Целую крепко. Как только положение определится, сразу напишу. Твой любящий

*Вова*

**Кротова И. СТРАНИЧКА ИЗ  
ВОСПОМИНАНИЙ**

В августе 1936 года мы сдавали экзамены для поступления на исторический факультет МГУ. Абитуриенты съехались со всех концов страны. На ходу знакомились, легко и свободно открываясь друг другу. Володя Скворцов, выпускник 1-й школы города Ногинска, Наташа Балакина из донецкой Горловки и я, тогда Мила Люби, прибывшая из Новороссийска, сдружились в первые же дни и пронесли эту дружбу через всю нашу жизнь. Спустя год к нашей троице присоединилась Ирина Пташникова, которая приехала в Москву из Ташкента.

Теперь о Володе. Он родился в Ногинске, отец его был там юристом на Глуховском хлопчатобумажном комбинате. Характер Володи сложился рано. Учился он неизменно отлично. Удивительная работоспособность, постоянное стремление узнать больше и больше, тренированная память отличали его и в студенческие годы. Он не довольствовался рекомендуемой литературой, обращался к историческим первоисточникам, любил и ценил документ. Конспекты, рабочие тетради всегда были у него в образцовом порядке.

Его любимым предметом стала история средних веков. Лекции по этому предмету, которые читали нам такие крупнейшие медиевисты, как Е.А. КОСМИНСКИЙ и С.Д. Сказкин, произвели на Володю сильное впечатление — образностью, яркостью деталей, чем отличались лекции Сказкина, и глубиной мысли, свойственной обоим нашим профессорам. Много дали ему занятия в семинаре, руководимом В.В. Стоклицкой-Терешкович: она прививала вкус к работе над источником и стремилась дать "выход" материалам, добытым ее учениками. Так родилось пособие по истории средневекового города, для которого Володя, помнится мне, написал очерк о ремесле того времени.

В последние студенческие годы в круг его интересов прочно вошла новая история. Большую роль сыграл в этом профессор Марк Соломонович Зоркий. Окончил Володя истфак, получив диплом с отличием.

Занятия наукой не вытеснили, однако, и других его интересов. Он любил классическую музыку, особенно Чайковского: от увертюры до финала напевал "Евгения Онегина", не хуже знал "Севильского цирюльника" Россини. Но еще сильнее, пожалуй, была его любовь к поэзии. Наизусть читал Пушкина, Лермонтова, поэтов-декабристов, очень любил Маяковского, Багрицкого. Сам писал стихи, занимался в поэтическом семинаре, куда входили многие начинающие университетские поэты, имена которых потом прогремели. Володины стихи, проникнутые любовью к университету, к друзьям, полные молодого ощущения жизни, печатались в университетской газете и вызывали разноречивые отклики (не обошлось без пародий). Не знаю, стал ли бы он поэтом для других, но для себя он был им всю жизнь.

Другая страсть его — спорт. Со школьных лет он увлекался футболом, играл в университетской команде. Помню, как мы ездили на какой-то стадион "болеть" за нашу команду, а мальчишки на стадионе кричали: "Молодец, длинноносый вратарь!"

В начале войны нас с Володией вызвали в Наркомпрос и предложили ехать по назначению в Омск, откуда, в свою очередь, направили учительствовать в село Абатское Ишимского района. В Абатске же его данные умного, образованного, полного педагогического такта и любви к детям учителя развернулись в полную меру. Но оставаться в глубоком тылу, когда большинство товарищей сражались на фронте, Володя не мог. Одно за другим следовали его заявления в райвоенкомат с просьбой послать на фронт.

Весной 1942 года он добился своего. В боях прошел путь от рядового до младшего лейтенанта.

Остальное досказывают его письма к матери. Когда летом 1943 года его часть вывели из боев на переформирование, Володя был уже тяжело болен. Диагноз: милиарный туберкулез (легких, горла, кишечника). Заботами матери он был помещен в Московский госпиталь для туберкулезных воинов Красной Армии. 3 января 1944 года был комиссован как инвалид Отечественной войны I группы, а спустя два месяца умер на 27-м году жизни и похоронен в родном Ногинске.

Ирина Кротова

## АБРАМ СОНИН

Поверхностному взгляду он мог бы показаться таким милым простаком, как принято теперь говорить — "без комплексов". Да, тот двадцатидвухлетний не стал бы выворачивать (вслух!) душу наизнанку. И не оборвись его жизнь, письма, которые сохранились и приводятся ниже, — письма, исполненные нежности, достоинства и боли, — остались бы частным эпизодом частной жизни. И если мы разрешаем себе предать их гласности, то потому, что убеждены — без них и без него, автора их, наш "семейный портрет" был бы неполон. Сегодня это — послание оттуда. А тогда все еще было впереди. Собирался учить детей в московской школе, которую сам закончил и куда его звали. На войну пошел добровольцем. Был переводчиком и политработником, а по совместительству и летописцем — запечатлевал историю тех, с кем вместе устоял и выжил в сталинградском пекле. Там получил "За отвагу", а сестре написал: главная награда — уцелевшая голова.

Порядочностью и веселостью помогал и другим жить и дышать — и однокашнику Борису Святскому, с которым вместе служил в армии, и другим своим фронтовым товарищам, а на расстоянии — и родным. В декабре 42-го, получив фотографии из дома, обрадовался и загрустил. "Мама заметно постарела. Нужно, чтобы она лучше за собой смотрела, а ты [сестре] старайся относиться к ней как можно лучше и не спорить с ней, даже если она не права".

На Курской дуге вел своих красноармейцев в бой. Раненный в голову, умер в медсанбате от потери крови.

**Москва, 20 июня 1942 г.**

*Дорогая Минна!*<sup>56</sup>

Ты, наверное, будешь удивляться, получив от меня письмо. Все же я позволяю себе надеяться, что сюрприз не будет неприятным.

Разреши прежде всего передать самый горячий привет от Бориса. Мы теперь с ним снова вместе, т.к. нас перевели в летний лагерь, а это в 200 метрах от его резиденции. Так что теперь нам будет веселей. Он пишет тебе, насколько мне известно, очень часто, и мне непонятно то, что ты себе до сих пор не слишком ясно представляешь, где мы служим и что мы будем делать. Возможно, что он выражался слишком туманными намеками. А мне отсюда можно выражаться яснее. Мы с ним служим в воздушно-десантных войсках. Это значит, что нам предстоит приятная возможность спускаться на парашютах на голову фрицам, которые, к сожалению, ждут нас не с распростертыми объятиями. Мы уже имеем с Борисом по одному тренировочному прыжку. Впечатлений достаточно много, особенно для исконного пешехода, как, например, меня. Но между прочим, настроение перед прыжком было очень хорошее у нас обоих и это меня радует. В Москву я приехал в командировку на 3 дня. Завтра уезжаю обратно. Здесь как будто Миша Гефтер, он был ранен, лежал в госпитале и сейчас в отпуску.

Я вчера вечером ходил к нему, но никого не нашел. Был в МГУ. По слухам, ашхабадцы серьезно собираются в Свердловск. Но когда это будет — не знаю. Истфак занимается в помещении геофака. А новое здание (мехмат) до сих пор еще представляет жалкое зрелище. В последнее время в Москве все спокойно (в отношении непрошенных гостей) и вообще немного лучше. Больше, пожалуй, никаких новостей, интересных для тебя, нет.

[...] Очень прошу тебя ответить на мое письмо, и поподробнее. Ладно? Адрес — как у Бориса, только 1-й батальон. Будь здоровенька.

Крепко жму руку и (за Бориса). Целую.

С искренним приветом

Абрам

---

<sup>56</sup> Письма адресованы Минне Хаскелис.

**6 сентября 1942 г.**

*Милая Минка!* Представляешь мое удивление и радость, когда я получил твое письмо. Я и не ждал сюда писем вовсе, а сегодня вдруг принесли твое письмо и несколько других. Их весьма любезно переслали со старого места. А часть писем прислал мне в конверте Борька. О нем я тебе сейчас не пишу, т.к. сам знаю не больше, чем ты. А ваша переписка, я надеюсь, успешно продолжается. Я сегодня позавидовал Борьке, т.к. он написал, что на след [ующий] день после нашего отъезда приехал Моисей Давидович и привез вина и др[угих] вкусных вещей, о которых я очень соскучился. А главное, что мы не отметили торжественным способом нашу неожиданную и, надеюсь, временную разлуку.

Теперь о себе.

Наш полк уже скоро месяц почти в непрерывных, жестоких и, увы, иногда неравных боях. Особенно неприятна немецкая авиация, назойливая, упрямая и весьма активная. Еще слава богу, что в 6 часов вечера они улетают ужинать, а ночью дают нам отдохнуть до рассвета. Ну пришлось быть под бомбами, под артогнем, минами и др [угими] удовольствиями. Но судьба милостива...

Люди дерутся замечательно. О нашем полку командование самого лучшего мнения. Мы сейчас защищаем тот город, откуда Янька Пинус. Понятно? И это очень почетно. Думаю, что скоро произойдут большие перемены к лучшему. Этой надеждой и живешь. А вообще, скажу откровенно, иногда бывает очень тоскливо. Фронтальная жизнь очень тяжела. По целым неделям ни разу не умылся я. Но все это ерунда.

Сегодня ночью имел работу по специальности. Субъект попался неинтересный, мало знающий. Но мне приятно, что я его понимал. А он меня тем более. Письмо пишу трофейным фарберовским карандашом. Раньше у меня даже было неск [олько] листов французской бумаги.

Твое письмо очень даже милое, а за содержание я нисколько не в обиде. Если оно и не дает полного ответа на вопрос, то во всяком случае вполне откровенно.

От Мимиши давно нет ничего, я очень беспокоюсь.

Вот все пока. Будь здорова и счастлива.  
С искренним приветом

*Абрам*

**5 июля 1943 г.**

*Добрый день, Минночка!*

Уже очень давно не писал тебе. А теперь хочется написать, тем более что нужно переслать тебе письмо от Леши Кара-Мурзы, в котором ты найдешь массу новостей о знакомых тебе истфаковцах. Правда, я лишаю себя (неразб.) для более подробного письма, но зато ты получишь сведения почти что из первоисточника (а это историки всегда считали большим преимуществом). Немножко о себе.

Уже несколько месяцев как я воюю на некотором расстоянии от передовой. Занят я работой по твоей, моей и Борькиной общей специальности — почти научный труд! Живу пока спокойно, совсем сытно и в приличных бытовых и культурных условиях, т.е. сплю раздевшись, каждый день умываюсь, читаю на 3-й день московские газеты, изредка вижу старые кинофильмы. Я пишу об этом, чтобы подчеркнуть разницу в положении: когда я был на Сталинградском фронте, в полку, я ничего этого не имел. Но я так огрубел, что почти не испытываю удовольствия от этого подобия культурной жизни.

Вообще здорово начал скучать по Москве, по москвичам и моим милым друзьям. Кстати (или некстати), их уже не так много.

От Бориса имел последнее письмо от 12 июня. Он в р-не Липецка, на объекте. Жалуется на отсутствие писем от тебя. Нельзя, детка, так. Но я думаю, что это почта виновата. Пиши ему чаще, Я знаю, как это приятно, хотя сам отныне лишен этой радости.

Ты, очевидно, знаешь, в чем дело. Мимиша прислала мне письмо, где сообщила, что уехала на Север к Игорю, и т.д. Приводит неуклюжие и жалкие объяснения. Пишет, что я все равно для нее самый близкий и даже любимый человек и тому подобный вздор. Я ей ответил и просил больше не писать мне. В ее письме есть такая фраза: "Минка под влиянием Бориса, очевидно, не стала отвечать мне после моей информации, хотя она больше всех посвящена в курс всех отношений". Если

это так, то мне должно быть приятно, что ты выражаешь мне свое сочувствие и фактически стоишь на моей стороне. Но думаю, что из-за этого не стоит тебе нарушать дружбу с Мимишей. Она была, останется и будет такой же чудесной и милой девушкой, какой мы ее знали. То, что в отношении меня она не проявила своих качеств, в этом она, может быть, и не виновата. Но я решил порвать все, несмотря на ее просьбы о переписке и т.д., потому что для меня такое положение весьма двусмысленно. Она даже писала, чтобы я не писал Борису. Но я написал подробно — больше, чем тебе. Ведь ближе у меня друзей нет. А оставаться с самим собой было тяжело. А сейчас понемногу начинаю привыкать. Думаю, что это не характеризует меня с дурной стороны. Ведь если бы человек не был способен забывать свое горе, то жизнь была бы невозможна (видишь, даже философствовать стал) [...]

Пиши мне подробно о себе. Борька пишет мало. Буду с нетерпением ждать твоего ответа.

Крепко, крепко жму руку.

С лучшими пожеланиями и приветом

Абрам

### *Извещение о гибели А. Сонины*

**6 августа 1943 г.**

*Дорогая Мамаша славного нашего боевого Друга  
Абрамчика Сонины!*

*Здравствуйте!!!*

Мы вместе с Вами переживаем сейчас тяжелые минуты. Среди нас не стало замечательного, чудного и любимого нами Абрама. Много и настойчиво поработал Абрам. Его труды были оценены командованием. Он получил повышение по должности. Но вот при выполнении боевого задания Абрам погиб смертью героя в борьбе с проклятым врагом.

За участие в борьбе за Сталинград, за нашу победу Абрам был дважды награжден. Он удостоен шести благодарностей тов. Сталина. И к нему относятся слова последнего приказа тов. Сталина: "Вечная слава героям,

павшим в борьбе за свободу нашей Родины". Ваш Абрам принадлежал к славной когорте гвардейцев-сталинградцев и высоко нес почетное звание.

Мы знаем, что очень тяжела для Вас эта утрата. Мы хорошо знали Абрама как прекрасного товарища, друга, знающего и способного командира, честного и непримиримого к врагу бойца.

Враг вырвал его из наших рядов. Мы потеряли замечательного человека. Его жизнь еще только начиналась, все помыслы его устремлялись в будущее. С Вашей помощью он получил высшее образование, которое помогало ему плодотворно работать над созданием истории героической обороны Сталинграда. Вместе с другими он является автором этого замечательного труда.

Вечная память Абраму!

Мы не забудем его работы и героической борьбы. Мы сохраним его образ в нашей памяти!

Мы отлично понимаем, что Вам, матери, тяжело перенести это горе, но не отчаивайтесь! Мы отомстим врагу за смерть Дорогого Абрама, и многие, многие немцы будут истреблены нестигаемой силой священной мести.

Смерть врагам!

Крепко жмем Вашу руку и обнимаем Вас, как собственную мать, как мать любимого друга, и от всей души благодарим Вас за то, что Вы воспитали славного защитника Родины, члена Всесоюзной Коммунистической партии большевиков, прекрасного друга и товарища.

Желаем Вам долгих лет жизни, чтобы увидеть счастье, за которое дрался и отдал свою молодую жизнь незабвенный Абрам!

*Боевые друзья Абрама:*

*гв. капитан Савин, гв. капитан Чайковский,  
гв. майор Макурин, гв. майор Хусанов*

*Святский Б.*

## ***КРАТКИЕ ЗАМЕТКИ ОБ АБРАМЕ СОНИНЕ***

Вместе с большой частью ребят нашего курса Абрам находился на строительстве оборонительных сооружений в Орловской и Смоленской областях. Сейчас, как ни пытаюсь, не могу вспомнить чего-либо специфического про него на этой работе — вместе со всеми копал рвы, уставал, вместе со всеми обсуждал ситуацию, конечно же, и шутил: острослов он был незаурядный. Мы там были с ним в разных бригадах (отделениях), хотя квартировали в одной избе, вернее — в пристройке к ней.

Очень сблизились мы — до теснейшей дружбы, до подлинно братских отношений с тех пор, как пошли вместе в армию: произошло это ранней осенью 41-го, на истфаке, куда прибыл вербовщик с курсов военных переводчиков. Абрам обучался на шестимесячном цикле, но вскоре его как продвинувшегося в языке перевели к нам на трехмесячный, и мы с ним были теперь в одном отделении, спали рядом, делились всем, чем могли, вместе ходили в наряды, сидели за одной партой и т.п. В самые первые дни января 1942 г. нас выпустили с курсов. По пути в Москву, помню, мы с ним остановились на квартире моей матери, находившейся тогда в эвакуации в Куйбышеве. Затем в составе одной команды были направлены для прохождения службы (переводчиками при штабе батальона) в воздушно-десантные войска, которые проходили подготовку в Киржачском районе Ивановской области. Какое-то время жили опять вместе, потом "разошлись" по своим батальонам — километрах в трех друг от друга, но общались регулярно, чуть не каждый день.

Помню, что вместе прыгали с парашютом во время учений. Полагаю, у него было столько же учебных прыжков, сколько у меня, то есть пять... Тот, кому случалось прыгать с парашютом, знает, что приходится преодолевать некоторое неприятное чувство нервозности, страха. Абрам справлялся с ним вполне, мы даже распевали шуточную песенку, сочиненную нами в пол-

ное подражание песне мушкетеров из известной тогда радиопередачи: "Трусов плодила наша планета..." и т.д.

Что-то в июне-августе 1942 г. наши воздушно-десантные корпуса спешно переформировали в дивизии, бригады стали полками, число переводчиков в дивизии несколько меньше, чем в корпусе, — боюсь давать сейчас точную справку, только стал Абрам переводчиком штаба полка, а я оказался за штатом. Он в составе своей дивизии был отправлен в Сталинград, я остался пока в тылу.

С фронта Абрам мне регулярно писал. Давал ясно понять, где воюет. Рассказывал, что был легко ранен — поцарапало руку. Писал, что трижды пришлось переправляться через Волгу под огнем.

Позже — и это видно из его писем — он занят был описанием Сталинградской битвы — работа эта велась, вероятно, при редакции одной из фронтовых газет, где он встретился с А. Кара-Мурзой, тоже истфаковцем.

Не могу сказать, сколь долго длилась эта работа. В 1943-м, во время Курской битвы, Абрам — снова на передовой.

После гибели его я получил письмо от его фронтовых сослуживцев. Письмо было чрезвычайно теплое, чувствовалось, что новые товарищи также очень любили его и оплакивали его смерть.

Борис Святский

## НИКОЛАЙ СУДНИЦЫН

Вступив в народное ополчение, Николай Судницын стал командиром батареи в том 975-м артполку, где было немало истфаковцев.

Письма, доходившие от него из армии, пронизаны двумя чувствами — желанием как можно лучше подготовиться к прямой схватке с врагом и заботой о близких, тревогой за жену и своего будущего ребенка. Сам Николай был настроен бодро, глубоко верил в победу.

Товарищи вспоминают его как усердного, умелого командира. В свободное от занятий время вместе с другими помогал местным жителям и это также делал увлеченно, в полную силу.

15 августа 1941 г. артдивизион занимался боевой подготовкой.

Рядом с его позициями шли учения пехоты. Случайно залетевшая пуля пробила голову командира. Это была первая потеря в полку.

Лейтенант Судницын был похоронен с воинскими почестями на кладбище деревни Юренево близ Вязьмы. А 22 августа у него родилась дочь Татьяна. Теперь она журналистка; у нее растет дочь Машенька, очень похожая чертами лица на своего деда, погибшего в возрасте двадцати шести лет.

### Начало июля 1941 г.

*Дорогие мои!*<sup>57</sup>

Вот уже четвертый день как я нахожусь в лагерях. Местность, где мы расположились, прямо исключительная: кругом сосновый бор, в 6,5 км деревня и в ста шагах — речка. Несмотря на 12-часовой рабочий день, здесь замечательный отдых — воздух чудесный, питание отличное. Своим назначением я весьма доволен. Занятия интересные.

---

<sup>57</sup> Письма адресованы родителям и жене — Римме Мунихес.

Все было бы хорошо, но я очень волнуюсь за всех моих дорогих, и особенно за Риммусю. Как мне тяжело сознавать, что в такую трудную минуту я не могу быть с моей любимой.

Я прошу тебя беречь себя, меньше волноваться и переживать. Отдыхай спокойно [...]

Пока все, спешу в поле. Крепко вас целую.

*Николай*

**20 июля 1941 г.**

[...] Все мои мысли и думы обращены к вам, к моей дорогой, горячо любимой Риммусе. Получили ли вы мои письма?

Я себя чувствую хорошо, в полном, как говорят, здравии и благополучии. Сейчас вы бы меня не сразу узнали: я сильно загорел и лицо немного огрубело — словом, совсем преобразился. После напряженного умственного труда — это очень полезное оздоровляющее дело. Я доволен своей судьбой на все 100 процентов. Приятно работать с людьми, которые тебя хорошо знают и которым не раз за 5 лет сдавал экзамены. У нас очень сплоченный, спаянный коллектив. Живем в дружбе и товарищеской взаимопомощи. Это письмо доставит вам или пришлет почтой профессор Арциховский и позвонит по телефону. Риммуся, не волнуйся, больше выдержки и силы воли. Ты у меня молодец.

Крепко целую и обнимаю тысячу раз.

*Николай*

**Конец июля 1941 г.**

[...] Посылаю тебе четвертое письмо. Я по-прежнему жив и здоров, чувствую себя отлично. Очень волнуюсь о состоянии здоровья всех вас, и особенно твоём, милая Римма.

Не знаю, как часто, или вообще смогу ли я иметь от тебя известия. Сегодня мы выезжаем на фронт. Пользуясь коротким перерывом, пишу это письмо. Очень спешу, ибо ожидаю команды "По коням..."

Еще раз, во имя нашего ребенка будущего, прошу тебя и всех вас не волноваться за меня. Я верю в свою судьбу — вы знаете, что уже несколько раз пули и снаряды рвались над моей головой и я оставался жив. Мне, как и всем советским гражданам, не жаль отдать свою жизнь во имя исторической борьбы нашего свободолюбивого народа с озверелым хищником, кровопийцей Гитлером. Я уверен в неминуемой нашей победе. Находясь на фронте, я чувствую за своими плечами миллионные массы народа, готовые так же, как и я, встать грудью на защиту матери-Родины.

Риммуся, береги себя и нашего любимого бэби. Крепко-крепко вас всех целую. Если долго не будет писем, не волнуйтесь. С почтой дело трудновато. Желаю тебе спокойно и безболезненно произвести на свет новое, дорогое нам обоим существо.

*Всегда твой, ваш Николай*

**15 августа 1941 г.**

Дорогие родные, получили ли вы мои письма? Я очень беспокоюсь за ваше благополучие, за Риммочку с мамой. Мне нужно скорее узнать ее адрес, ибо я хочу ей чаще писать, но не знаю куда [...] Все мы с нетерпением ждем встречи с варварскими бандами гитлеровцев. Я буду в лоб разить фашистских гадов из своих орудий. За меня не беспокойтесь. Я верю, что все будет хорошо. Мы безусловно одержим победу, и я снова вернусь к вам.

Если редко будут от меня письма, то не волнуйтесь, ибо нахожусь на фронте и не всегда возможно написать письмо. Но обещаю писать часто.

*Любящий вас всех Николай*

## МИХАИЛ ФЕЛЬДМАН

Его судьба подобна судьбе Володи Скворцова. И некоторые черты сходства приходят на память: усидчивость, серьезное отношение к делу, уравновешенность, дружелюбие.

Он был на нашем курсе из "старших": смешно сказать, что разница даже в три—четыре года имела тогда значение. Однако к концу истфаковской эпохи она, как правило, переставала быть разделительной чертой — и вообще, и в данном случае.

В 41-м Михаил Фельдман был на строительстве противотанковых рубежей (отсюда ссылки в письме на орловскую Снопоть). Физически не очень крепкий, он держался там превосходно. А затем воевал, также всерьез и упорно, как все, что делал в жизни.

Служил военным переводчиком.

Туберкулез фронтового происхождения свел его в могилу.

**18 октября 1943г.**

*Здравствуй, Лида!*<sup>58</sup>

Это пишет тебе Миша Фельдман. На нашем участке сейчас затишье. Темная ночь... дремучий лес... У меня появилась свободная минутка, и я решил написать тебе пару слов. Тогда мне пришлось уехать из Москвы внезапно, за мной приезжали — наша часть уходила на фронт. С тех пор мы непрерывно в боях. После короткого отдыха мне не удалось зайти к тебе на следующий день за литературой. Был вторично ранен в плечо, но лечился мало, потому что рана была легкая — касательная. Мы содействовали с правого фланга при взятии Орла, брали г. Карачев, Брянск, Кричев, прошли с боями сотни километров. Между прочим, вели бои и овладели теми противотанковыми рвами, которые студенты МГУ и истфака строили в июле 1941 г. Взяли ту деревню (Снопоть), где мы жили с Мишей Гефтером и другими

---

<sup>58</sup> Адресат -Лидия Максакова.

ребятами. Она вся сожжена немцами и нашими снарядами. Левее этой деревни наша дивизия форсировала р. Десна. Сейчас подошли к водному рубежу, сильно укрепленному противником. Вчера контратаковали нас силою вновь прибывшего из Норвегии полка до 1500 штыков, но были повсюду отбиты. Сожгли у них 5 танков и подбили 2 танка. Набрали целый комплект пленных. Сегодня затих, очевидно, выдохся. Но, в общем, дерется упорно... А лично у меня все по-старому, работы очень много, так что спать почти не приходится, но уже привык к этому.

*С приветом Миша Фельдман*

**7 февраля 1943 г.**

*Здравствуй, Лида!*<sup>59</sup>

Получил только что твое письмо. Молодец, что написала. Поздравляю тебя и всех товарищей с 25 октября. У нас "где-то в Белоруссии" высокий сосновый лес и чудная лунная ночь. Фриц отдыхает и поэтому ведет себя сравнительно спокойно: бьет тяжелой артиллерией издалека и освещает свой передний край ракетами. В блиндаже горит лампа-молния образца 1942 г. — гильза от 76-миллиметрового снаряда, сплюснутая в шейке, с фитилем из солдатской портянки. Стол накрыт газетами и телефон на столе. От разрывов вздрагивают окна, застекленные каким-то троферным суррогатом. Встречаем праздник 25 октября. Я вспоминаю Москву и 7 ноября 1940 г., но вспоминать сейчас вредно — портить настроение. Так что не знаю даже, о чем думать теперь. У нас в блиндаже есть единственная книга С. Голубова "Багратион", как раз историческая, читаю ее уже 1,5—2 месяца, думаю сегодня к 7.00 закончить. Вот моментальная фотография по состоянию на 0.30 м. 7 ноября 1943 г.

Писать можно много, но толкового ничего не выйдет. Настроение какое-то, черт знает какое. Почему-то радио у нас молчит сегодня...

---

<sup>59</sup> Адресат – Лидия Максакова.

Кажется, все, что у меня сейчас в мыслях, очень печально, но факт. Будь здорова. Пиши, без писем сейчас скучно очень. К тому, что происходит здесь, привыкнуть нетрудно, а к скуке — невозможно.

От меня и моих товарищей горячий привет!

*Миша*

## МИХАИЛ КОМИССАР

Только одно письмо — все, чем мы располагаем как свидетельством военной жизни и судьбы Михаила Комиссара.

Отрывочны и воспоминания о нем друзей истфаковских лет. Из большой семьи ("бесконечно младшие братья"), жили бедно, "домашние сложности" сказывались и в облике его — какая-то грусть на лице, которая, впрочем, могла быть от предков и характера. В большие компании не входил, но дружить умел, полюбившейся девушке, попавшей в беду, торопился помочь, чем только мог.

Знающие его "заднескамеечники" (вместе сидели там на лекциях в актовом зале) сходились в оценках: "тонкий", начитанный, занимался историей всерьез. На старших курсах увлекался Французской революцией ("переводил прокламации того времени"). Было еще сильное увлечение — шахматы.

В июле-сентябре 41-го строил оборонительные рубежи, а вернувшись, в критические для Москвы дни вступил в Отдельный истребительный батальон Красной Пресни — будущую роту противотанковых рубежей 8-го полка московских рабочих. Из полка был направлен в Коломну, в школу старших политруков. Отсюда — на фронт.

Другу писал: воюем, сидя в болотах, и в местах, где производил раскопки Арциховский. Вероятнее всего, там, вблизи Новгорода, он и погиб.

"...К услугам" (последняя фраза единственного письма) — не эпистолярная учтивость, адресуемая отцу пропавшего без вести товарища. Это — человек.

## Не раньше первых дней декабря 1942 г.

*Дорогой Абрам Борисович!*<sup>60</sup>

Получил Вашу открытку. Очень печально, что от Левы нет никаких известий. Хочу верить и надеяться, что как Лева, так и Жорка вернутся и мы еще увидимся. Верьте и Вы в это и тем поддерживайте свои силы и бодрость. Сейчас живу по-прежнему. Недавно у нас были жаркие бои (прочтите сообщение Информбюро в газетах за 16 — 24 ноября).

Сейчас у нас зима, морозы небольшие, одеты замечательно.

С родителями переписываюсь. Им теперь крайне тяжело в связи с невероятной дороговизной. Поэтому усиленно им сейчас помогаю.

Пишите о жизни в Москве.

Кажется, что я не был в ней целую вечность.

Сердечный привет всем моим знакомым.

К услугам

Ваш Михаил

## О ГЛЕБЕ МЕТЛЕНКОВЕ

Его писем в нашем распоряжении нет. Но как обойти Глеба? Это было бы в высокой степени несправедливо.

Из Казани отозвался Алексей Ременников, наш однокурсник, отвечая на анкету, разосланную несколько лет назад. Пишет о себе, но сразу переходит на товарища: "Писем, дневников, воспоминаний у меня, к сожалению, не сохранилось. Могу лишь поделиться тем, что помню о Глебе Метленкове, который мне был особенно симпатичен. Его отличали большие способности, огромное трудолюбие, прекрасное отношение к своим товарищам. Г. Метленков, начиная с первого курса, активно включился в научную работу и добился значительных

---

<sup>60</sup> Письмо адресовано отцу Левы Финкельштейна.

результатов. Он тщательно готовился к деятельности историка, активно участвовал в семинаре, все сбережения расходовал на создание собственной научной библиотеки. Летом и осенью 1941 г. вместе с другими комсомольцами направился на оборонительные работы. Там он показал себя как трудолюбивый, дисциплинированный, твердый духом боец трудового батальона. Затем Г. Метленков вступил в ряды Советской Армии (о его военной службе знает, кажется, В. Штейнбук)".

Воспоминания Виктора Штейнбука следуют ниже. Они подкрепляют и завершают краткий рассказ Алексея Ременникова. А эпиграфом к ним можно поставить случай, запомнившийся Жене Пестковской: в какой-то газете, вероятнее всего в нашей многотиражке, напечатано было интервью Глеба, в котором говорилось: "...если будет война, я встану грудью на защиту родины. Мы рассмеялись тогда, потому что грудь у Глеба была узкой". Что ж, слова были неоригинальными, в нашей среде высокий штиль успеха не имел. А вот у исполнения — Глебова — облик личный. И на войне сумел он остаться собою, что было трудно каждому, ему же труднее, чем многим другим.

Еще свидетельство. Оно из второго тома трудов покойного Сергея Владимировича Бахрушина. Там исследуется, в частности, судьба "Избранной рады" Ивана Грозного и роль в ней Алексея Адашева — личности, оставившей заметный след в русской истории. Выясняя время и обстоятельства, при которых Адашев пришел к власти, С.В. Бахрушин ссылается на "очень убедительные" результаты, которые получил "молодой начинающий ученый Г. Метленков, героически павший в войне с немецкими фашистами", в своей работе "Борьба боярских группировок в первой половине XVI века".

**Штейнбук В. ОТРЫВКИ ИЗ  
ВОСПОМИНАНИЙ**

До войны и даже до армии я знал Глеба Метленкова как бы издали, мне были ближе однокурсники, жившие в общежитии. И на строительстве противотанковых рубежей я, откровенно говоря, Глеба не помню. Встретились же мы в истребительном батальоне Красной Пресни. И он и я получили в сентябре 41-го путевку туда от партбюро истфака (вручила ее нам, помнится, Эстер Герштейн).

Но, прежде чем говорить о самом Глебе, назову некоторые основные факты совместной нашей военной жизни. Оба мы были в одном расчете пулеметной роты, я — "первым номером", Глеб — подносчиком патронов. Осенью 41-го батальон размещался в Тестовском поселке. 16 октября нас подняли по тревоге. Комиссар сказал, что нам предстоит схватка с рвущимися на Москву немецкими танками. Выдали гимнастерку (до этого ходили в своей одежде) и медальон. Перебросили в Сетунь, под Кунцево. Но встречи не произошло, другие части остановили фашистов у Кубинки. В Сетуни мы простояли всю оборону Москвы — учились, готовились. А в феврале 42-го года вступили в бой на Калининском фронте, недалеко от Нелидова.

Тяжело нам там досталось. Всего метров семьсот между лесочком, где мы разместились в палатках, и деревней Лемешиха — немецким опорным пунктом, но сколько там полегло наших товарищей. Было вдобавок и голодно — по сухарю на день. Снег топили запивали сухарь горячей водой. Выручала конина. Был у нас боец Миша Хайрулин, который научил готовить мясо из убитых лошадей. Мы с Глебом вначале брезговали есть его, но затем почитали за лакомство.

Трудно сойтись теснее, чем я с Глебом, за те полгода, о которых речь. Это был удивительно чистый, интересный человек, глубоких знаний и твердых принципов. Было бы неправдой сказать, что он легко справлялся с тяготами армейской жизни. Мне как-то помогал опыт, приобретенный до университета, — работа на Производстве, рабфак. Глеб же прямо шагнул в войну

из дома и аудитории... Что-то у него всегда пропадало, был он, с военной точки зрения, крайне неловок, а в том, лемешихинском житье, — и недобытчик. Очень донимали его простуды, фурункулез. Тем сильнее выступала нравственная натура его — чувство долга, самозапрет на жалобы. Говорили естественно, больше о текущем. Пытались объяснить друг другу потери, убедить себя в оправданности их. Ясно было, что без пушек Лемешиху не взять, но (говорили мы) как же палить по деревне, где есть еще и крестьяне.

Запомнился один маленький эпизод. Где-то набрали мы немного мерзлой картошки, испекли ее. Глеб, более выдержанный, чем я, не съел сразу всю свою порцию, а одну картофелину спрятал в вещевой мешок. Она и пропала. Очень было обидно. Но мы не позволяли себе подозревать кого-либо или упрекать друг друга в потере. "Ни при каких обстоятельствах не терять человеческого достоинства", - внушали себе. Не могу не выделить, не подчеркнуть еще раз глубочайшую порядочность Глеба во всем, в каждой мелочи, в любом слове и поступке.

Помнится, очень тепло отзывался он о своем учителе — старом профессоре Бахрушине.

Не сомневаюсь, что из Глеба вышел бы крупный ученый-историк. Однако он отчетливо понимал, что история совершается у него на глазах, и исключал всякую мысль о неучастии в этой живой истории.

18 марта 1942 года была предпринята еще одна попытка овладеть Лемешихой. В этот день были мы за разными пулеметами — на расстоянии примерно 150 метров друг от друга. Приблизившись ко мне, он крикнул, что ранен (в плечо), и отправился в санчасть. От помощи отказался. Больше я его не видел и о дальнейшей его судьбе узнал много позже от товарищей по курсу: после госпиталя Глеб окончил в Иванове курсы санинструкторов и вернулся в строй, на тот же Калининский фронт. Погиб он 1 марта 1943 года.

Виктор Штейнбук

## ЭПИЛОГ

Среди признаний о войне, слов скорби и торжества — в память и во славу павших — есть особенные, словно заключившие в себе все сказанное и все неизреченное. "Я знаю, никакой моей вины, / В том, что другие не пришли с войны..." Так начинаются знаменитые стихи, и начало их вроде не опровергается последующим, не оспаривается с той точки зрения, какую можно назвать личной и исторической воедино. "...И не о том же речь, / Что я их мог, но не сумел сберечь".

В самом деле — о том ли речь? Да разве кто-то, будь он семи пядей во лбу, смог бы уберечь "непришедших" — ВСЕХ? И разве сама эта мысль — не вызов необратимому ходу событий, их страшной и обязывающей непеременимой — неизбежности спасительного усилия, какое не вправе останавливаться перед жертвой жизнью?

Выходит, нет вопроса — нет здесь ему места. Но так ли?

Идут годы, выкликая следующие поколения, множатся новые беды и новые заботы, вместо прежних пророков и кумиров воздвигаются и опадают другие, а поэт спрашивает себя — еще и еще — все о том же. И прежним — МОГ, НО НЕ СУМЕЛ — пытается память, тревожит свою и нашу душу. "Речь не о том, но все же, все же, все же..."

При всей краткости — реквием. Взгляд не самодовольного моралиста, в лексиконе которого либо анафема, либо славься, а нравственника, чье воображение и совесть исполнены (равно!) верностью людям и неверием в себя, в собственное право менять жизнь и учить жить. Да и какой иной взгляд мог быть у него, прошедшего дорогой Тысяча девятьсот сорок первого и Тысяча девятьсот сорок второго, испившего страдания и горечь, забыть о которых значило бы обездуховить не только себя, но и из истории, из летописи, соединяющей и удерживающей миллионы судеб, вычесть дух и разум, изъять нечто, заставляющее усомниться во всех прописях добра и зла. Но не в добре как таковом. И не во зле,

остающемся таковым вопреки всем его непредсказуемым превращениям и просачиваниям в добро.

Не оттого ли так опасно беспамятство, что оно мешает людям постигать вновь и вновь добро — через познание зла (иначе не выйдет!)?

...Еще живы многие из тех, кто встретил 22 июня в разгаре или в начале своей сознательной жизни. Они, выжившие и живущие, кажется, помнят все, но о чем-то самом важном ведают лишь павшие. Кое-что целиком в их власти — и не одни только остановленные мгновения битвы, сотканной из превеликого множества раздробленных и безвестных схваток. Они хранят еще и главную тайну тех лет — неравного противоборства человека с самим собой, таинство принятия решения о собственной участи, когда она на зыбкой грани жизни и смерти.

Как совершался выбор отдельным и в силе своей слабым человеком? Только они знают. Но то, что это — тайна, чувствуем и мы. И чем дальше отступаем от того времени, тем сложнее и мучительней их выбор для нас. Ибо он — не точка, в коей пересеклись время и пространство. Выбор — это человек, оказавшийся в этой "точке". Он может случиться в ней по собственному почину, а может и в силу обстоятельств, над которыми не властен; различие большое, громадное даже, но все-таки не самое существенное. Ведь человек тем и Человек, что может превозмочь обстоятельства — сначала в себе, с себя начиная.

И собою кончая?

Что ж, может стать, этим выбор и ограничится. Прошлые столетия добавили б: именно потому и тогда он — Выбор! Нынешний век подтвердил сие примерами, превосходящими все известное и даже, мнится, все доступное людям.

Подтвердил — и усомнился.

Усомнился в смерти во благо людей. Заново открыл истину — человек призван ЖИТЬ! Вновь, как в исходе истории БЫТЬ уравнилось с ЖИТЬ. И легче стало выбирать жизнь, свободнее этот выбор? Или же напротив — труднее во сто крат?

Признание из самых трудных: зло выучилось овладевать выбором, переиначивая его смыслово, третируя едва ли не в каждом. Но и добро также не стоит на ме-

сте. Оно умнеет на свой лад. И "всеядность" его выдержала, кажется, страшнейшие из измен, а его же простодушие пугало уже не раз карты тех, кто "именем и по поручению" истории пытается распорядиться всеми и всем, раз и навсегда.

...Это все-таки заблуждение, что будущее всегда впереди. На самом деле люди, народы, цивилизации издавна двигались вперед спиной, лицом же к тому, что без возврата и без забвения.

И ныне, особенно теперь, у грядущего в демиургах — память. И это оно, БУДУЩЕЕ ПРОШЛОГО, говорит устами Александра Твардовского, себе вменяя в вину, что "другие не пришли с войны".

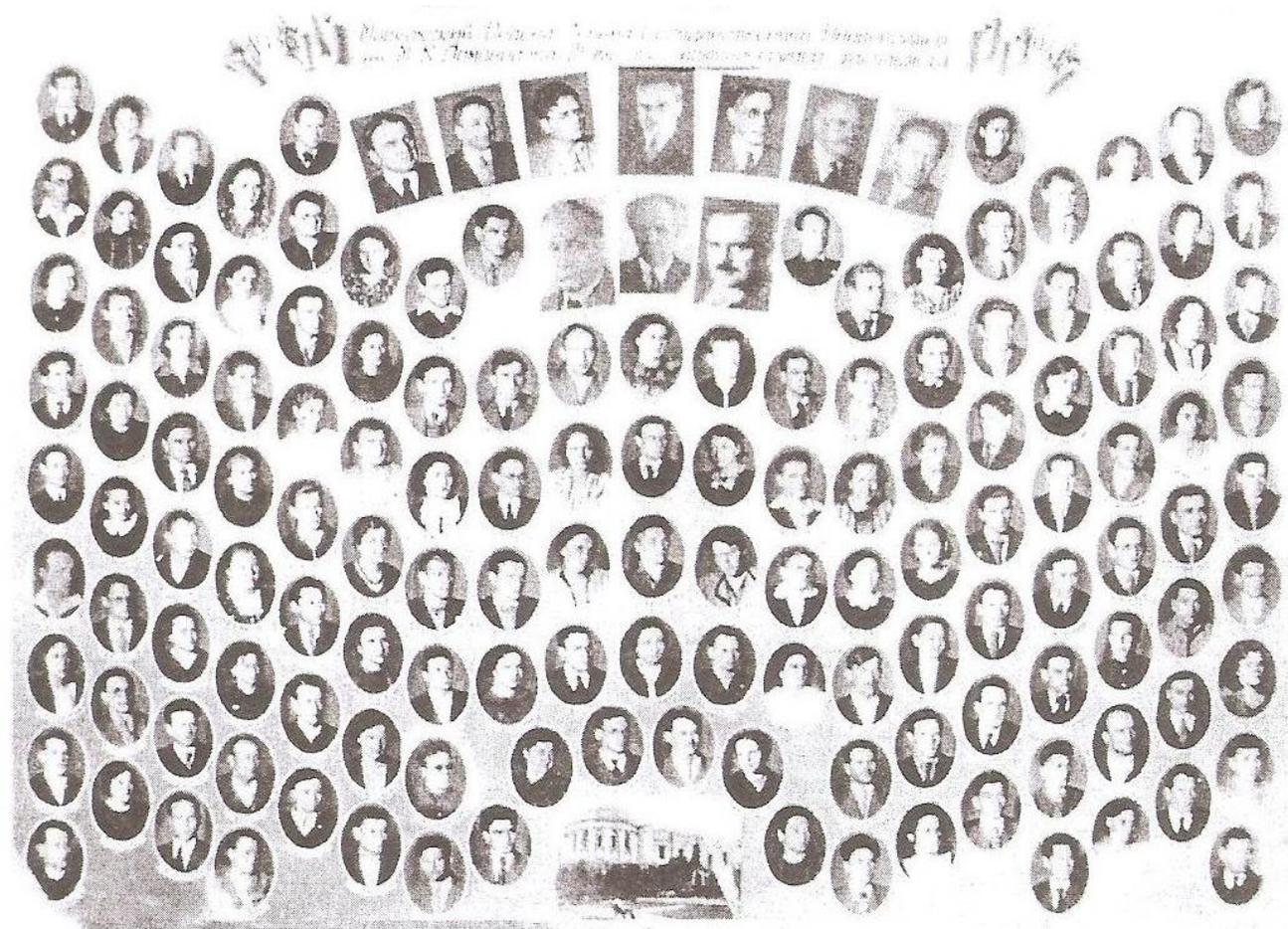
Принимая на себя ответ за все до одной досрочные смерти, за всех, насилем выброшенных из существования, за всех несостоявшихся детей, за все, несотворенное ими. Вменяя в вину живущим и тем возвращая павших. А ими продлевая жизнь.

**ЖИЗНЬ ПАМЯТИ — ЖИЗНЬ ПАМЯТЬЮ.**

...Для нас собрание писем погибших друзей, листки эти, удержавшие их дыхание, — и боль, и счастье. Мы заново встретились. Лучше поняли их. Хочется думать, и себя тоже.



## **ИЛЮСТРАЦИИ**



Общая фотография курса 1936--1941 г.г.



В день презентации книги "Голоса из мира, которого уже нет."  
1995 г. - у Вечного огня перед I-м корпусом гуманитарных факультетов.



Курс 1936-41 г.в. в день презентации книги "Голоса из мира,  
которого уже нет" на историческом факультете, перед Доской памяти.



Сотрудники и выпускники Московского университета  
у Вечного огня. Май 1995 г.

Вместо предисловия	3
ОТ СОСТАВИТЕЛЯ	6
<b>ЖИВЫЕ — ЖИВУЩИМ</b>	<b>11</b>
<b>ПАМЯТИ ЕЛИЗАВЕТЫ ШАМШИКОВОЙ И ИРИНЫ МОЖАЙСКОЙ</b>	<b>21</b>
Шемшикова Е.П. Слово о дочери	25
Нечкина М.В. Интерес к прошлому	28
Тюлина И. На Тульской земле	29
Гвоздовер М. Чему меня научила Ира	31
Соколовская О. И. Кронштадта в Мерекюла	34
<b>ОНИ УШЛИ ПЕРВЫМИ</b>	<b>38</b>
Драбкин Я. Мои давние друзья	44
<b>КОНСТАНТИН ЗАБРОДИН</b>	47
<b>ЛЕВ СЕЧАН</b>	48
<b>ГЕОРГИЙ БАУЭР</b>	50
Библер В. Думая о Леве	57
<b>ПАРТИЗАН ИВАН КОРА</b>	<b>59</b>
Материалы, присланные З.П. Кора-Марученковой группе Поиск»	61
Письма	63
Извещение и письмо о гибели И.П. Кору	68
<b>ЧЕТВЕРО ИЗ ОПОЛЧЕНИЯ</b>	<b>70</b>
<b>МОИСЕЙ ГИНЗБУРГ</b>	76
Из сохранившихся в рукописи стихотворений Моисея Гинзбурга	83
<b>ИГОРЬ САВКОВ</b>	86
Савкова Р. Через пятьдесят лет после войны	92
Равдина Т. Работа И. Савкова "Курганы села черёмушки"	98
Письма Игоря Савкова	100
<b>АЛЕКСАНДР ОСПОВАТ</b>	108
Святский Б. Самый близкий друг	117
<b>ЯН ПИНУС</b>	119
Из писем Яна Пинуса сестре	127
<b>ОНИ ДОГНАЛИ ДРУЗЕЙ</b>	<b>136</b>
<b>ЮРИЙ МАСЛЕНИКОВ</b>	144
<b>ВАЛЕНТИН ВАЙСМАН</b>	149
<b>ИОСИФ БОСИН</b>	153
<b>ОТ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ РУБЕЖЕЙ ДО БОЕВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ</b>	<b>162</b>
<b>МЛАДШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ВЛАДИМИР СКВОРЦОВ</b>	<b>162</b>
Кротова И. Страничка из воспоминий	169
<b>АБРАМ СОНИН</b>	<b>171</b>
Извещение о гибели А. Сонины	175
Святский Б. Краткие заметки об Абраме Сонине	177
<b>НИКОЛАЙ СУДНИЦЫН</b>	179
<b>МИХАИЛ ФЕЛЬДМАН</b>	182
<b>МИХАИЛ КОМИССАР</b>	184
<b>О ГЛЕБЕ МЕТЛЕНКОВЕ</b>	<b>185</b>
Штейнбук В. Отрывки из воспоминаний	187
<b>ЭПИЛОГ</b>	<b>189</b>
<b>ИЛЛЮСТРАЦИИ</b>	<b>193</b>